Otsup, Aleksandr Avdeevich

Pugachev ili Petr?

891.734
088P

DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

СЕРГѢЙ ГОРНЫЙ

ПУГАЧЕВЪ или ПЕТРЪ?

Душа народа

Книгоиздательство ОТТО КИРХНЕРЪ и Ко.

C sel compl.
10
1

Новыя изданія:

Р. Эйхакеръ. „Хорстъ Вильманъ", романъ нравовъ М. 50.—
Гауфъ. Сказки, съ многочисленными иллюстраціями худ. Штирена М. 55.—
Нурокъ. Учебникъ англійскаго языка М. 125.—
Гоаръ. Ключъ къ Нуроку и самоучитель англ. языка М. 40.—
Игорь Сѣверянинъ. „Фея Eiole", новый сборникъ стихотвореній М. 75.—
Е. Акинфіева. „Хочу читать", новый русскій букварь съ 315 рисунками худ. Штирена 2-е изданіе (по старому и новому правописанію) М. 45.—
Игорь Сѣверянинъ. „Падучая стремнина". Романъ въ стихахъ, съ рисунками Вл. Бѣлкина М. 75.—
Арк. Буховъ. „Разговоръ съ сосѣдомъ". Новый сборникъ юмористическихъ разсказовъ М. 85.—
Терне. Самоучитель стенографіи 5-е изд. М. 60.—
Художественныя открытыя письма. 10 серій „Русскія сказки". Цѣна за одинъ экз. М. 1.30

На складѣ:

А. Терне „Въ царствѣ Ленина". Очерки современной жизни въ Р. С. Ф. С. Р. 2-ое изданіе М. 120.—
А. М. Терне. „Новое ученіе о соціологіи" 2-е изданіе М. 90.—
П. Ершовъ. „Конекъ-горбунокъ", съ рисунками худ. А. Штирена М. 45.—

Печатаются:

А. Дроздовъ. „Дѣвственница". Новый романъ
И. Коноплинъ. „Печальный Богъ". Сборникъ разсказовъ
Е. Акинфіева. „Моя первая хрестоматія", съ многочисленными рисунками художника П. Крупенскаго.
Ген. А. Лукомскій. „Воспоминанія".
А. Доннъ. „Ковбои Техаса", пов. для юношества.

Всѣ указанныя книги имѣются въ изящныхъ переплетахъ цѣною на 20 герм. марокъ дороже.

Книжный складъ и магазинъ ОТТО КИРХНЕРЪ и Ко,
Berlin W. 35. Genthinerstr. 19.

Otsup, Aleksandr Avdeevich

СЕРГѢИ ГОРНЫЙ

Pugachev ili Petr?

ПУГАЧЕВЪ или ПЕТРЪ?

(Душа народа)

ПСИХОЛОГИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ

Издательство ОТТО КИРХНЕРЪ и Ко.
Berlin W 35 : : : Genthiner Str. 19
1 9 2 2

3

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		Стр.
1.	Пугачевъ или Петръ?	5
2.	„Трубные клики татаръ“	15
3.	Фейерверкъ	25
4.	Подполье	34
5.	Трещины	40
6.	Блѣдная немочь	46
7.	Была и нѣтъ	54
8.	Безмолвіе	63
9.	„Сирано“	70
10.	Вѣра и будни	76
11.	Русь	87

Пугачевъ или Петръ?

...Пугачевъ незадолго до взятія имъ помощью яицкихъ казаковъ Оренбурга жаловался приближеннымъ: «У л и ц а м о я т ѣ с н а»... Мало казалось срубленныхъ головъ, полныхъ тѣлами овраговъ, темныхъ силуэтовъ висѣлицъ, строившихся быстрыми привычными руками. Хотѣлось разгуляться ш и р о к о ю, буйною улицей. Чинить судъ и расправу не въ креслѣ предъ избой, — съ булавою и серебрянымъ топоромъ, а пройтись «государемъ Петромъ Феодоровичемъ» ураганомъ, со свистомъ и топотомъ, съ забубеннымъ гиканьемъ по всей Руси. Это было начало разрушительное, стихійный бунть кочевой, анархической, бродяжнической крови. То ирраціональное начало нашего духа («раззудись плечо, размахнись рука»), что прошло чрезъ всю нашу исторію. Начало распыляющее, сметающее, дикое, раздольное, какъ степи, какъ ковыль, какъ заунывныя пѣсни наши, смѣняемыя дикою, шаманскою дробною пляской. Это было начало центробѣжное.

Но были вѣдь на Руси, проступали, словно костякъ, словно позвоночникъ въ эмбріонѣ — начала строительства, начала государственности?

«Природой здѣсь намъ суждено
«Въ Европу прорубить окно».

И кто то новый, словно чужой для Россіи, писалъ Шереметеву приказъ заложить шесть ладожскихъ фрегатовъ «понеже зѣло нужны и тамъ нѣкоторыя суда». И кто то новый и какъ бы вовсе чуждый народу назначалъ «Беринга капитана для открытія пути въ Восточную Индію черезъ океанъ Ледовитый». И кто то странный и рѣшительный приказывалъ «всѣмъ русскимъ подданнымъ, кромѣ крестьянъ и духовныхъ, брить бороду и носить платье нѣмецкое: сперва венгерское, а потомъ мужескому полу верхнее саксонское . . . Съ ослушныхъ брать пеню въ воротахъ московскихъ улицъ съ пѣшихъ 40 к., съ конныхъ 2 р.».

Вѣдь, было это только двѣсти лѣтъ тому назадъ...

«Ногою твердой стать при морѣ:
«Сюда по новымъ имъ волнамъ
«Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ» . . .

Это было начало творческое, собирательное, органически-жизненное, почти (какъ природа, какъ необходимость) жестокое, принудительное и гордое. Могучее, твердое въ своемъ творчествѣ даже въ мелочахъ, даже въ техникѣ жизни («а юфть дѣлать отнынѣ не съ дегтемъ, а съ ворваннымъ саломъ. Ослушникамъ же галеры» «. . . а лѣкаря, уморившаго больного, смертію казнить . . .»).

Новое пробивалось, словно продиралось съ трудомъ. Точно черезъ заросли, сквозь чащу, цѣпкія, спутанныя, сросшіяся вѣтви сумеречнаго народнаго лѣса

шелъ звонкій, веселый и споркій саардамскій топоръ
Кому больно сдѣлаетъ, а гдѣ и путь расчиститъ...

*
* *

...Когда Пугачева привели къ графу Панину, онъ спросилъ его: «Какъ же ты, Емелька воръ, смѣлъ государемъ называться»? Пугачевъ отвѣтилъ: «Я не воръ и не воронъ, я — только вороненокъ. А воронъ еще прилетитъ».

Это было въ 1775-мъ. А теперь? Не онъ-ли, не настоящій ли воронъ со зловѣщимъ карканьемъ летаетъ надъ Русью? Лохматыя крылья вѣютъ позоромъ и ужасомъ, смятеньемъ и болью. Прилетѣлъ онъ, зловѣщій, и каркаетъ злобно, протяжно и торжествующе.

Съ кѣмъ же Русь: съ Петромъ или Пугачевымъ?

*
* *

Если смотрѣть въ микроскопъ, на протоплазму, — видно, какъ въ ней сгущается центральное ядро. Вокругъ по освѣщенному полю микроскопа бѣгаетъ, дрожитъ, переливается студенистая («анархическая») масса. А въ центрѣ густѣетъ, твердѣетъ, чеканится стерженекъ, ядро. Это какъ бы позднѣйшій позвоночникъ дальнѣйшихъ, болѣе организованныхъ особей. Это органическій процессъ природы. Неотвратимый, естественный, неизбѣжный, какъ законы жизни.

Петръ — костякъ нашей исторіи, становой хребетъ, позвоночникъ. Сломать его, значитъ превратить Русь въ студень, въ аморфную, киселеобразную массу, въ трясущееся желэ, въ протоплазму.

Петръ — это ростъ Россіи, ея мужество, зрѣлость. Пугачевъ — это бродило, ферментъ, стихійныя, слѣпыя силы. Это наше прошлое вольныхъ, степныхъ становій. Это игра стихійныхъ силъ, могущая ужалить больно и слѣпо, какъ молнія. Петръ — такая же молнія, но въ видѣ электрическаго разряда, динамомашины.

Въ Пугачевѣ нѣтъ силы сцѣпленія: это безсмысленные вихри и смерчи стихій. Въ Петрѣ — таинственный процессъ кристаллизаціи жизни, уплотненія тканей. Видно, какъ въ мелочахъ, атомъ за атомомъ складывался въ твердое, костяное тѣло рыхлый матеріалъ, который надо было штрафовать на 40 к., «а ежели конный ослушникъ 2 р.». «Продажу меда и масла въ церквахъ весьма пресѣчь. Въ мужскихъ монастыряхъ учредить гошпитали, также училища цифири и геометріи. Предъ иконами, внѣ церкви стоящими, свѣщевозженіе весьма возбранить. Часовни ломать. Чудесъ не вымышлять. Мощей не являть. Нищихъ брать за караулъ и бить батожьемъ нещадно и ссылать на каторгу, чтобъ хлѣбъ не даромъ ѣли» . . .

Видно, словно подъ микроскопомъ, какъ сцѣпляются смѣшныя, маленькія, но въ сплавленномъ, сросшемся видѣ костенѣющія — молекулы творчества. Петръ — творческое уплотненіе народнаго духа. Пугачевъ — вѣтеръ, смерчъ. Петръ— организмъ, стягивающійся къ позвоночнику, крѣпнущій. Пугачевъ — расползаніе организма, раствореніе его въ стихіи, смерть цѣлаго и распыленіе.

По линіямъ внутренняго, гражданскаго фронта мечется онъ сейчасъ, разрывая Русь и расползаясь самъ.

Почему же до сихъ поръ ему еще не показалось, что «грознаго царя . . . .

. . . Мгновенно взоромъ возгоря
Лицо тихонько обращалось.
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко скачущемъ конѣ» . . .

Вѣдь самымъ развѣнчаннымъ униженнымъ и обезцѣненнымъ является сейчасъ именно Петръ. Хруститъ позвоночникъ страны, ломаются скрѣпы. Рвутся двѣсти лѣтъ нашей жизни. Вѣдь дѣло не въ заплеванномъ Петрѣ, но въ неслыханномъ сказочномъ само-кощунствѣ. Петръ, вѣдь, это мы сами. Проэкція нашего порыва въ жизни, въ исторіи. Петра даже нѣтъ. Это просто нашъ инстинктъ жизни, наша «живая вода», біеніе духа, пульсъ бытія.

Грузъ войны оказался не подъ силу еще не окрѣпшему государственному костяку. Швы расползлись. Вѣдь, на юный, еще не затвердѣвшій позвоночникъ нельзя надѣяться, нельзя взваливать большой грузъ. Не выдержитъ, искривится. А то и вовсе рухнетъ.

О, Русь! Забудь былую славу
. . . и дѣтямъ на забаву
Даны клочки твоихъ знаменъ.

Гибнетъ начало Петра, начало собирательное, цементовавшее Русь цѣпкими крючьями, словно «на абордажъ» подтянувшее ее къ Европѣ. Теперь канаты «отданы» и . . . безъ руля и безъ вѣтрилъ «колоніальная» страна оторвалась отъ пристани.

*
* *

Петръ и Пугачевъ — двѣ стороны русскаго духа, противоположныя, но, — пускай не покажется страннымъ, — мистически родственныя. Нашедшій свой стержень Пугачевъ — это и есть Петръ. Вѣдь въ жестокости («кнуты, батожье и галеры», «а на машкерадъ всѣмъ являться подъ жестокимъ штрафомъ»), въ упорствѣ и настойчивости—оба равны.У обоихъ сила. Одна организующая, другая распыляющая. У одной плюсъ, у другой минусъ. Но цифры тѣже. Пугачевъ 1775-го года былъ — силой. Пугачевъ 1918—1922-го — тоже.

Прежнему Пугачеву противопоставили силу. А нынѣшнему? Разумѣется, между ними — обоими Пугачевыми — громадная разница и въ качествѣ, и въ количествѣ, и въ исторической перспективѣ. Но по внутренней мистической сути народной души оба они братья. И если въ Петровской Руси была сила и принужденіе, взятыя изъ тѣхъ же пугачевскихъ элементовъ русской души — былъ окрикъ, была власть, была боль, боязнь за позвоночникъ тѣла, которому грозила расхлябанность, то нынѣшнему Пугачеву—силы, мощи, генія, и упорства противопоставлено не было. Петра съѣлъ русскій интеллигентъ. Меньшевикъ, оборонецъ, эсеръ, — раздробившій становой хребетъ тѣла на позвонки, онъ съѣлъ его костоѣдомъ, каріозомъ, гангреной. На силу онъ отвѣчалъ боязнью: «какъ бы только не примѣнить насилія». Слабый, хилый, выросшій за библіотечною полкой, въ пыли брошюръ, близорукій, хотя и до конца честный — онъ по трагическому року страны

оказался хранителемъ началъ Петра на Руси, часовымъ.

Что-же онъ сдѣлалъ? Онъ выдалъ его головой Пугачеву.

Затормошенный спорами, секціями и фракціями, съѣздами, совѣщаніями и партійными голосованіями, поправками, резолюціями, блоками и лозунгами — онъ проморгалъ нароставшую силу.

Если хотите, Петръ и Пугачевъ въ ихъ мистической сути близки другъ другу. Оба русскихъ начала — центробѣжное и центростремительное. Оставить ихъ наединѣ, они бы пришли къ единоборству. И, разумѣется побѣдилъ-бы инстинктъ жизни, собиранія, стремленія къ стержню, къ центру, — а не инстинктъ стихій и распыленія. Но ужасъ въ томъ, что въ тѣ мѣсяцы, когда въ народной душѣ долженъ былъ идти споръ между началомъ темнымъ и стихійнымъ, усталости и безразличія и между мудрымъ инстинктомъ жизни, въ это самое время пришелъ русскій интеллигентъ и исказилъ эту ясную, чистую борьбу. Онъ опуталъ душу паутиною словъ, цѣпкою, липкою, тяжкою. Онъ затуманилъ мозгъ словами о догмахъ, лозунгахъ, партіяхъ, непротивленіи, абсолютной свободѣ, абсолютномъ воздержаніи отъ вмѣшательства въ борьбу, о доктринахъ, всесвѣтномъ братствѣ и поправкахъ къ голосованію. Гулливера опутали лилипуты тонкими нитями и онъ не могъ шевельнуться. Петръ въ народной душѣ (а онъ тамъ есть, ибо и Петръ, и Пугачевъ родныя дѣтища, созданія народа) былъ опутанъ, обезсиленъ, подавленъ. Книжниками, безсильными, хотя и честными, хотя и готовыми на всякое самопожертвованіе, фантастами, им-

потентами въ борьбѣ и борцами на кафедрахъ — ему, Петру, были подрѣзаны сухожилія.

Когда не стало элемента государственности, то въ той-же самой душѣ проснулся инстинктъ стихійности.

Развѣ она виновата? У насъ легко отдѣлываются кличками. Всплескиваютъ руками и винятъ во всемъ «большевиковъ». Если-бы не они, молъ, то у насъ былъ-бы Элизіумъ и райскія кущи. Народолюбцы, нынѣ на своихъ-же столбцахъ, ругающіе народъ, — ругающіе его злобно и мстительно, какъ только можетъ ругать обойденный, — направляютъ свои парфянскія стрѣлы не по адресу. Въ народѣ проснулся инстинктъ, подняла голову рыкающая стихія, подняла и обнажила пасть. Это вѣрно. Нѣтъ спору. Но вы-то, что раньше дѣлали, чтобы помочь этому народу пробудить въ себѣ Ормузда, пока Ариманъ, богъ зла, спалъ? Вѣдь годы тяжкой и крестной работы, подвижнической военной тяготы продѣлалъ этотъ народъ. Значитъ, есть, вѣдь, у него подвигъ терпѣнія. Не одинъ слѣпой инстинктъ въ душѣ. Но мало того. У него, именно у народа, — есть и свой Петръ въ душѣ, а не одинъ только Пугачевъ. Кто помогалъ выявленію Петра? А кто вызывалъ Пугачева? Отзовитесь!

Одинъ изъ бывшихъ министровъ Керенскаго періода назвалъ въ какой-то ликвидирующей прошлое брошюрѣ — большевизмъ движеніемъ «головотяповъ». Нѣтъ. Это движеніе несчастныхъ, затормошенныхъ людей. Людей, брошенныхъ отъ тисковъ прежняго порядка къ паутинѣ самовлюбленныхъ, мудрящихъ и фарисействующихъ книжниковъ. Они прожужжали ему

уши поправками къ поправкамъ, затюкали фронтовыми съѣздами, секціями, мандатами, комиссіями и десятимѣсячной истерической болтливостью; вели его не къ великому, а къ малому, къ мелкому, къ своимъ самолюбицамъ, къ догмамъ, къ лозунгамъ и къ брошюрной, органически чуждой народу, мудрости.

Петръ — солнце народа. Его свѣточъ. Его скинія. Пугачевъ — мракъ, сонъ, хмара души. Петръ плюсъ. Пугачевъ минусъ. А у васъ, какой у васъ знакъ души? Ноль?

Оставь вы русскую душу наединѣ съ собою, вы-бы увидѣли величайшую побѣду. Но вы боялись арміи, ибо прочитали, что она бываетъ оплотомъ контръ-революціи, и оплели ее липкою, вязкой и клейкой интеллигентской паутиной. Вы боялись крестьянъ, ибо тоже прочли, что мелко-буржуазный собственникъ бываетъ опорой ревстараціи, и вы напустили въ деревни такого туману и чаду отъ вашихъ поправокъ къ поправкамъ, что тамъ стало вовсе темно и зловѣще. И послѣ этого вы, убійцы Петра, говорите о «головотяпахъ». Исторія выбросила васъ, какъ шелуху, какъ мякоть. Половинчатыхъ, книжныхъ, дряблыхъ и оглядывающихся ей не нужно.

Народъ, давшій Петра, далъ и Пугачева. Пускай сейчасъ онъ опять далъ Пугачева. Это больно, кошмарно, ужасно, (и виновниковъ убіенія Петра мы знаемъ), но это такъ. Но онъ-же когда либо, — пускай это увидятъ наши внуки, — дастъ опять Петра. Онъ родитъ силу.

И лишь заклейменные забытые никчемные уйдутъ въ Лету, въ небытіе, фарисеи и книжники, не умѣвшіе ни до конца любить, ни до конца ненавидѣть, оглядывавшіеся на свои брошюры и голосовавшіе свои поправки къ поправкамъ. Уйдутъ короѣды интеллигентской мысли, доктринеры и буквоѣды, уйдутъ вмѣстѣ со своими догмами, брошюрами, самолюбьицами и заявленіями къ порядку голосованія. Уйдутъ, ибо неумолимый ходъ машины требуетъ ясности, четкости и силы: либо плюсъ, либо минусъ.

*
* *

Съ момента революціи могъ начать бороться въ русской душѣ Петръ съ Пугачевымъ. Но между ногъ вертѣлся хлибкій, тщедушный книжникъ и интеллигентъ съ интернаціоналомъ подъ мышкой и съ поправкой къ голосованію на неподвязанномъ языкѣ.

Рухнулъ Петръ. Тяжкую, неизбывную драму изживаетъ сейчасъ страна — наша мать, наша родина. Одурманенный, усталый и темный ея-же сынъ насилуетъ ее. «Нѣтъ повѣсти горшей на свѣтѣ». Обнажимъ голову. Одинъ изъ періодовъ нашей исторіи почилъ въ крови, въ слезахъ, стыдѣ однихъ и мелкой, ничтожной слѣпотѣ другихъ.

Пройдутъ года, скорѣй десятилѣтія, и Петръ съ Пугачевымъ снова сцѣпятся въ народной душѣ. Разумѣется, побѣдитъ жизнь, воля къ бытію, а не распыленіе.

И борьба великановъ будетъ легка.

Ибо между ногъ не будетъ вертѣться тщедушный лилипутъ съ интернаціоналомъ подъ мышкой и поправкой къ третьему голосованію на натруженномъ языкѣ.

„Трубные клики татаръ“.

У англичанъ есть прекрасное выраженіе:
Shadows of the future.
Тѣни будущаго.

Это тѣ тѣни, что отбрасываются назадъ грядущими, еще не наступившими, но, какъ грозовая туча вдали, трепетно предвосхищаемыми событіями. Ихъ еще нѣтъ. Они еще не наступили. Но воздухъ дѣлается странно жуткимъ и свинцовымъ, что-то спираетъ грудь и, хоть тутъ-же на зеленой полянѣ еще теплѣетъ, облитый солнцемъ, изумрудъ травы, но по полю чуется, вотъ-вотъ сейчасъ, безформеннымъ, угрюмымъ, лохматымъ пятномъ ляжетъ, словно распластанное чудовище, тѣнь отъ набѣгающей тучи и выкраситъ солнечный изумрудъ въ тусклый и мертвый свинецъ. Тучи еще нѣтъ. Но тѣнь ея чуется. Тѣнь будущаго.

И нервные люди маются въ эти часы: — «Что-то не въ моготу. Какъ передъ грозой». Лохматая тѣнь, пятно будущаго, shadow of the future — уже легло на нихъ. И чуткіе барометры духа, провидцы, поэты, странною, изощренною, трепетно воспріимчивою душою ловятъ, предвосхищаютъ эти грозныя пятна, этихъ

лохматыхъ чудовищъ, медленной обрекающею тучей, встающихъ на нашемъ горизонтѣ.

У одного изъ наиболѣе изощренныхъ, запечатлѣнныхъ ясновидящей чуткостью провидцевъ — Александра Блока, есть гдѣ-то мелкимъ шрифтомъ въ «Снѣжной ночи» примѣчаніе, пояснительный комментарій къ странному, грустно-напѣвному и какому-то сумрачному стихотворенію «На полѣ Куликовомъ». «Оркестровка» этого стихотворенія, какая-то глухая тоска и какое-то бьющееся, но такъ и не разрѣшившееся въ стихотвореніи, предвидѣніе, предчувствіе, словно страхъ — не совсѣмъ обычны даже для мистика Блока. Чувствуется особый ужасъ, напряженная, чего то ищущая, но такъ и ненашедшая боль.

И въ короткой строкѣ комментарія онъ роняетъ странное, категорическое, утверждающее пророчество: «Куликовская битва это символическое событіе русской исторіи. Такимъ событіямъ суждено возвращеніе. Разгадка ихъ еще впереди». И больше ничего.

Вы знаете, когда ясновидящій, или нервно изощренный, въ экстатическомъ порывѣ, напряженіи воли — что-то прозрѣвшій — чувствуетъ, онъ чувствуетъ это коротко, остро и просто. Онъ не сомнѣвается, не колеблется, не водитъ самого себя вокругъ да около,— онъ просто знаетъ, безошибочно чувствуетъ. И все.

Въ этомъ странномъ, короткомъ, словно ударъ, словно нервный лучъ или шокъ, комментаріи—тотъ-же характеръ простоты, маніакальной увѣренности. Онъ

знаетъ, зналъ еще давно, когда обронилъ эти строки, что «такимъ событіямъ суждено повторяться». Чуялъ ихъ shadow ot the future. Ощущалъ наползавшую, холодную тѣнь грозового облака, еще не затемнившаго горизонтъ, но предвидѣніемъ уже остудившаго его сердце. Такъ передъ близкой грозой клубится пыль по шоссе. Наклоняясь, трепещетъ листва. И въ воздухѣ, чуть спертомъ, грозовомъ воздухѣ предощущеніе рокового, нависшаго. Это значитъ, что на душу уже легла «тѣнь будущаго». Онъ чуялъ, что Куликово поле — татарскія сѣчи — «символъ русской исторіи».

Это символъ, страшный символъ, обрекающій и безпощадный. Неумолимый, какъ приговоръ, ибо онъ у насъ въ крови.

Почему именно Куликово?

Поэтъ спѣшитъ самъ отвѣтить:

«О, Русь, моя... До боли
«Намъ ясенъ долгій путь
«Нашъ путь — стрѣлой татарской
древней воли
«Пронзилъ намъ грудь».

Какъ святой Себастіанъ, пронзенный стрѣлами (вспомнимъ прекраснаго Себастьяна кисти Рибейры), мы ходимъ съ этой стрѣлой, этимъ проклятіемъ въ груди.

Скажите, развѣ во всемъ происходящемъ нѣтъ отдаленнаго отголоска, раската, какъ эхо, какъ прокатившійся вдали громъ, «татарской злой неволи»? Не была-ли битва подъ Непрядвой пароксизмомъ, спаз-

мой, рефлексомъ освобожденія отъ внѣшняго татарскаго ига?

Дмитрій разбилъ Мамая. — Разбили-ли мы, однако, Мамая въ душѣ? Не вошли ли эти широкія скулы, эти раскосые глаза — въ нашу исторію, не оказался-ли побѣжденный на Куликовомъ полѣ — побѣдителемъ въ нашей исторіи?

Въ «Привидѣніяхъ» Ибсена — помните? — страшный наслѣдственный ядъ незамѣтно, гибельно и неотвратимо подкрадывается къ обреченному. Уже прогрессивный параличъ въ его мозгу, «дурная кровь» бѣжитъ въ артеріяхъ. Онъ тихо гладитъ мягкую портьеру, глядя на закатъ и безсмысленная, полублаженная улыбка освѣщаетъ его ротъ... Наслѣдственность...

А у насъ?

Нѣтъ ли, дѣйствительно, въ кровяныхъ шарикахъ проклятаго наслѣдства долгихъ ханскихъ столѣтій? «Продуло»-ли насъ достаточно изъ окна, однимъ махомъ прорубленнаго вѣнчаннымъ плотникомъ? Вѣдь окно было пріоткрыто (нельзя сказать «распахнуто») всего двѣ сотни лѣтъ. А что значитъ это мгновенье въ исторіи? Помните Тургеневскіе Юнгфрау и Финстераргорнъ въ его «стихотвореніяхъ въ прозѣ»? Обмѣняются обѣ горы репликами, а, смотришь, и вѣкъ прошелъ. Для историческихъ кряжей — два столѣтія лишь борозда времени, даже не межа.

«Я слушаю рокоты сѣчи
«И трубные клики татаръ.
«Я вижу надъ Русью далече
«Широкій и тихій пожаръ.

Вотъ это зловѣщее полымя, быть можетъ, у насъ въ крови. Рдяною полосою освѣщаетъ оно, словно вѣчный закатъ, снѣга Руси. Не переставая, еще съ Пугачева, горятъ разбросанныя помѣстья. Въ тихой— и жуткой, кровавой зарѣ встаютъ города. Этотъ буйный разгулъ, словно степной клекотъ, точно гиканье кочевника, прижавшагося къ лукѣ своего коня — развѣ не слышны въ нынѣшнемъ разгулѣ, въ посвистѣ разгулявшейся Руси? Въ жесткомъ, азіатскомъ равнодушіи къ крови и вмѣстѣ съ тѣмъ въ тягѣ къ ней («на кровку потянуло»...), въ этихъ раздувающихся ноздряхъ, въ широколицыхъ сѣверянахъ и узкоглазыхъ волжанахъ — развѣ нѣтъ отблеска исторіи?

«Пусть ночь. Домчимся. Озаримъ кострами
«Степную даль.
«Въ степномъ дыму блеснетъ святое знамя
«И ханской сабли сталь.
«И в ѣ ч н ы й б о й! Покой намъ только снится.
«Сквозь кровь и пыль,
«Летитъ, летитъ степная кобылица
«И мнетъ ковыль».

Какой неровный, взнузданный и вмѣстѣ съ тѣмъ вольготный бѣгъ нашей исторіи... По кочкамъ и рытвинамъ, по косогорамъ и балкамъ степи отъ Донского Куликова поля черезъ короткій, великодержавный «европейскій» сонъ, — снова къ Дону.

«Я не первый воинъ, не послѣдній
«Д о л г о б у д е т ъ р о д и н а б о л ь н а...»

говоритъ все тотъ-же провидецъ Блокъ.

«Мы самъ другъ надъ степью въ полночь стали:
«Не вернуться, не взглянуть назадъ.
«За Непрядвой лебеди кричали
«И опять, опять они кричатъ».

Какое внутреннее предвидѣніе, какой мистическій флюидъ нашепталъ Блоку его короткія, затерявшіяся гдѣ-то въ примѣчаніяхъ, петитомъ набранныя слова о символичности для Руси Куликова поля? Было то, дѣйствительно, предвидѣніе по образу прошлаго — подобія будущаго?

Трепетная, дрожащая тѣнь этого будущаго всегда висѣла надъ Русью, при Грозномъ-ли, при Биронѣ, при задушенномъ въ инженерномъ замкѣ Павлѣ Первомъ или при убіенномъ въ Екатеринбургѣ послѣднемъ царѣ. Это было ощущеніе чего-то неотвратимаго, неизбѣжнаго. Таково ощущеніе человѣка, чующаго въ крови бѣгъ наслѣдственнаго обрекающаго яда. Этимъ ядомъ была татарщина, степной захватъ, наслѣдіе ханскихъ столѣтій, разбавленная Золотой Ордой вялая славянская кровь. И подлинно: именно эти слагаемыя народнаго духа видимъ мы передъ собою: славянство Обломова и посвистъ Пугачева въ одномъ лицѣ.

Обломовъ съ доброй, благодарной и безвольной улыбкой принялъ даръ Революціи. Пугачевъ ее искромсалъ. И не осталось сейчасъ больше переходныхъ чертъ въ нашемъ характерѣ: или чистый Обломовъ, или голый Пугачевъ. Онъ, этотъ Пугачевъ, точно спазматическими толчками кидалъ поѣзда съ вооруженными людьми по зигзагамъ внутренняго фронта. Какіе зловѣщіе перебои, какая аритмія народнаго

пульса. Такъ пляшетъ кровь у степного наслѣдника, кочевого бродяжника, прильнувшаго къ лукѣ сѣдла и несущагося вскачь. Куда? Прочь отъ своей исторіи. Прочь отъ двухсотлѣтняго кочевья. Прочь, прочь...

«И вѣчный бой. Покой намъ только снится.
«Сквозь кровь и пыль,
«Летитъ, летитъ степная кобылица
«И мнетъ ковыль.
«И нѣтъ конца! Мелькаютъ версты, кручи
«Останови!
«Идутъ, идутъ испуганныя тучи
«Закатъ въ крови!
«Закатъ въ крови. Изъ сердца кровь струится.
«Плачь! сердце, плачь:
«Покоя нѣтъ! Степная кобылица
«Несется вскачь».

Развѣ можно «остановить»? Это въ крови. Иногда кажется, что вся Русь это сорвавшійся съ Европейскаго повода всадникъ на дикомъ, обезумѣвшемъ отъ свободы, отъ свистящаго по степи вѣтра, конѣ. Развѣвается ханскій халатъ, бьетъ по колѣнямъ нервно и отрывисто кривая сабля, хрипитъ степная кобылица и мчитъ насъ къ невѣдомому будущему. Отъ славянской обломовщины первыхъ дней Революціи, черезъ ея углубленія, черезъ непротивленіе, къ проснувшемуся, весело и радостно, ощутившему въ жилахъ буйную, вольную кровушку, Пугачеву.

«О, Русь моя! До боли
«Намъ ясенъ долгій путь.
«Нашъ путь—стрѣлой татарской древней воли

«Пронзилъ намъ грудь».

Но если Европа будетъ судить нашу раскинувшуюся и нынѣ въ спазмахъ и родовыхъ мукахъ корчащуюся Русь, то пусть эта Русь швырнетъ своимъ судьямъ на столъ — карту. Только всего. Простую, географическую карту. И кто знаетъ, что еще скажутъ «присяжные исторіи»?

Куда падали всѣ удары гунновъ, «что (по словамъ Брюсова) тучей нависли надъ міромъ?» Чья почва сотрясалась отъ этой чугунной поступи? Куда опрокидывался въ первую очередь Тамерланъ, Чингисханъ, Батый и «комбаттантъ» Куликова поля Мамай?

Россія была для Европы гигантской предохранительной подушкой, воспринимавшей удары Азіи, этой колыбели человѣчества. А дальше удары шли ослабѣвая и замирая, и къ Пиренеямъ и къ Аппенинамъ. Первая сила удара, разомъ ослабѣвавшаго, приходилась только на Россію. Изъ Азіи — шелъ горячій, творческій потокъ. И попавшаяся ему, какъ порогъ у печи, первою Россія обдавалась наибольшимъ жаромъ. Всю силу напора впитывала (именно впитывала) она въ себя и... заразилась.

Россія это — железа Европы. Вы знаете, та самая железа, которой физіологія поручаетъ первой впитывать въ себя всѣ токсины, всѣ яды организма. Татарщина — была ядомъ исторіи. И первою отъ нея распухла эта железа Европы. Она впитала въ себя, поглотила весь ядъ и Европа осталась нетронутой. Есть безконечно грустный, почти святой символъ въ томъ, что Россія сейчасъ бьется въ наслѣдственной падучей

пугачевщины, а незаразившіеся только благодаря этой предохранительной, широкой, поглощающей степи, европейцы, частью брезгливо, частью равнодушно смотрятъ на припадочную. Кое-кто снисходительно предлагаетъ покрыть ее бѣлой простыней: «Подождите. Авось отойдетъ».

«Нашъ путь степной, нашъ путь въ тоскѣ безбрежной,
«Въ твоей тоскѣ, о Русь,
«И даже мглы ночной и зарубежной
«Я не боюсь».

Есть жуткая красота трагедіи въ гибели отъ внутренняго яда этого часового Европы, заразившагося на карантинѣ, на рубежѣ, гдѣ надъ одной рукой желтѣла табличка «Азія», а на другой — стрѣлка указывала «Европа». Ихъ мѣсто соприкосновенія, соединительная ткань, историческая прокладка — это вольная, широкая, буйная и тоскующая русская степь сейчасъ гибнетъ. Она впитала въ себя тѣ яды, что предназначались другимъ. Другіе останутся жить по Манчестерамъ, Дюссельдорфамъ и Дуврамъ. Имъ хорошо. Лишь нѣкоторыя струи ядовитыхъ «переселеній» дотекали къ нимъ. Главныя оставались на русской степи и ядовитыми гнѣздами проѣли нашу душу.

Слышишь-ли ты, Европа, слышишь-ли? Хорошо-ли тебѣ по твоимъ Флоренціямъ съ галлереями, Дуврамъ съ гаванями, тихимъ Амстердамамъ съ колокольнями и полотнами нидерландцевъ? Хорошо-ли тебѣ въ уютѣ духа, въ дисциплинѣ англосаксонской и тевтонской

крови, въ неопасной возбудимости крови галльской? Хорошо-ли?

Вы помните, что говоритъ одинъ изъ героевъ Горькаго:

> «Хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь. Раздробить-бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей. Или вообще, что-нибудь такое, чтобы стать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты . . . И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... вдребезги...»

Прильнувъ къ лукѣ сѣдла, летимъ мы по степи. Крутые зигзаги дѣлаетъ взмыленный конь. Въ крови у насъ пожаръ татарской древней воли . . .

И пожаръ вокругъ насъ весь въ крови.

Фейерверкъ.

Есть прекрасная картина Сомова.

Въ глухомъ, запущенномъ паркѣ, гдѣ въ углу сгрудилась купа деревьевъ, жмутся, какъ всегда у Сомова, жеманныя карнавальныя фигуры. Гдѣ-то тутъ-же, недалеко, изъ подъ деревьевъ, точно шипя и дрожа, вылетаетъ пѣвучая ракета... Фейерверкъ. А выше, печальныя звѣзды алмазно катятся внизъ. Рядомъ, словно тающія облачка, слѣды отгремѣвшаго, взвившагося и проплакавшаго свою короткую жизнь, фейерверка. Это — тающіе вздохи, слѣдъ, пыль, дуновеніе. Все, что осталось отъ сердитой взвившейся басовой ракеты, разсыпавшейся на вечернемъ небѣ самоцвѣтными, драгоцѣнными алмазами....

... Страшно сказать, но какъ будто въ нашей душѣ тѣ-же смѣны періодовъ: быстрая воспламеняемость; грохочущій, ревущій, побѣдный и красивый (какъ только можетъ быть красивъ порывъ души), бросокъ наверхъ. Второй періодъ, — красивыя алмазныя слезы, самоцвѣтныя мысли, что скатываются внизъ, замирая и кой-гдѣ потухая. Третій — тающія облачка, пыль, слѣдъ, дуновеніе, дымъ. А иногда...

иногда угаръ, удушающій, терпкій и жгучій до боли и стыда — угаръ.

Мы способны то-же, какъ будто, только на это первое мускульное усиліе, на то, чтобы приподняться, какъ Муромецъ, который «сиднемъ сидѣлъ тридцать лѣтъ и три года». Но дальше этого рефлекса, порыва, этого «приступа къ дѣлу» не идемъ.

И у насъ взвились красныя знамена революціи. Какъ будто не дрогнувшей рукой взметнули мы ихъ. Было молитвенное влюбленіе въ Свободу. Весенняя, сладкая радость, подступившая къ сердцу, опьянившая душу.

Былъ хмель, молодой, прекрасный, радостный хмель. Былъ «медовый» увы! не мѣсяцъ, а день вѣнчанной радости. И на это насъ хватило. Это мы умѣемъ. Всюду, гдѣ есть романтика, пафосъ, взмытая волна опьяненія — самоупоеніе, брызги момента — тамъ «мы умѣемъ».

И наступилъ второй періодъ: падающихъ прекрасныхъ, самоцвѣтныхъ мыслей, что золотымъ дождемъ, подобно звѣздамъ, прорѣзали вечерѣвшій, зловѣще и мрачно темнѣвшій россійскій небосклонъ. Сознаемся, положа руку на сердце, что во всемъ томъ многостихійномъ и щедромъ многословіи, что излило это «подполье» на Русь, было много золотой мечты человѣчества, были прекрасныя, зажженныя тоскою и болью слова и мысли.

Вѣрно, послѣ этого пришла анархія. Вѣрно, послѣ этого, словно саванъ закуталъ страну. Вѣрно, оно это «подполье», также виновато въ темной полосѣ,

въ которую вступила Русь. Но отвлекитесь отъ этого, всмотритесь въ самоцѣнность тѣхъ лозунговъ, мыслей, идей и словъ, что были щедро брошены на Русь послѣ долгаго, — о, какого долгаго! —. молчанія страны.

Вотъ этотъ творящій погромы мужикъ, вотъ эти, засѣвшіе въ совѣтскихъ нѣдрахъ интеллигенты, вотъ эти примазавшіеся къ нимъ маленькіе калифики на часъ: чиновники, сдѣлавшіеся соціалистами и соціалисты, ставшіе въ ореолѣ власти чиновниками — развѣ все это не наши старые знакомые? Развѣ это не Платоны Каратаевы, не Пьеры Безуховы, не Верховенскіе, не Смердяковы? Все они же. Безумная толпа Каратаевыхъ съ мечтою о золотомъ царствѣ, со взыскующей тоской или о царской, пропавшей грамотѣ или о «селянской» землѣ и волѣ. Интеллигенты, оторванные отъ жизни, ушибленные о Гегеля, Михайловскаго, или Маркса съ Каутскимъ. Какіе то лабораторные жрецы, или пропускающіе всю Россію черезъ фабричныя трубы и вертящіе ручку экономическаго матеріализма, какъ шарманку, вмѣстѣ съ Ильинымъ (одинъ изъ псевдонимовъ Ленина). Или идущіе въ эсеровскую, самобытную, общинную Каноссу?... Или оттуда (что, въ общемъ, съ внѣшней стороны недалеко) отправляющіеся тоже въ самобытную славянофильскую Мекку?

Развѣ всѣ эти, ушибленные о книгу, о догму, о букву, параграфъ — интеллигенты не наши старые знакомые? Развѣ не прежней, знакомой толпою прошли они передъ нами?

И признаемъ, что въ центрѣ ихъ по праву, среди той толпы, которая хлынула на авансцену нашей исторіи, долженъ быть поставленъ Рудинъ.

Ему, мягкотѣлому, ему, прекраснодушному, ему, упивавшемуся своимъ голосомъ, своимъ творческимъ процессомъ, своимъ собственнымъ экстазомъ — должна быть воистину пропѣта: Осанна! Онъ ее заслужилъ. Онъ это доказалъ.

Несомнѣнно онъ, только онъ — коронованный, признанный, соборный типъ русскаго интеллигента: взмывающій какъ порохъ, словно отсырѣвшій, но все же прекрасный выстрѣлъ, порывъ вверхъ; затѣмъ слова, слова, прекрасныя слова, чарующія слова, которыхъ заслушался самъ ораторъ. Потомъ чадъ, угаръ, пыль, какъ тающее облачко, какъ дуновеніе.

И все.

Но развѣ судьба Россіи — фейерверкъ? Развѣ слово о будущемъ и настоящемъ — это только алмазныя, самоцвѣтныя пригоршни, — что, подобно жемчугу, бросаются на золотое блюдо? Когда ювелиры бываютъ кузнецами?

И страшная мысль, холодная мысль — закрадывается вползающей змѣей въ душу: не банкроты ли теперь всѣ эти Рудины, партійные и не партійные, буржуазные и не буржуазные интеллигенты? Не банкроты ли?

Ибо, что, кромѣ комплекта перевязанныхъ бичевкой журналовъ и газетъ своихъ, отчетовъ о своихъ засѣданіяхъ могутъ они предъявить? Гдѣ созидательная, будничная работа? Ея нѣтъ. Стихійно и ко-

собоко создававшіяся на мѣстахъ «демократическія» организаціи сдѣлали въ началѣ революціи свою работу безъ типичнаго интеллигента. Рудинъ въ ней не участвовалъ. Рудинъ и въ центрѣ, и на мѣстахъ — былъ «наверху», или на трибунѣ, или за столомъ редакціи. Рудинъ бросалъ слова.

Не будемъ несправедливы. Въ подавляющемъ большинствѣ это былъ, дѣйствительно, Рудинъ, потому что онъ в ѣ р и л ъ въ то, что говорилъ. А говорилъ онъ то же, что и настоящій Рудинъ, т. е. оторванное отъ конкретной, реальной жизни, отъ ея мяса, отъ ея быта.

Душа Рудина — это душа р е з о н и р у ю щ а г о с л а в я н и н а.

И въ этомъ наше проклятіе и гибель. Онъ дѣйствительно роняетъ самоцвѣтныя, прекрасныя мысли о братствѣ народовъ, о грядущемъ царствѣ справедливости и мирѣ всего міра. И такъ мягко и радостно падаютъ слова; и такъ хочется погрѣться въ этой нѣжащей постели изъ пуховыхъ словъ: радость, свобода, жизнь, отдыхъ, тишь. И въ этомъ психологическая разгадка успѣха тѣхъ, кто разстилалъ передъ усталыми людьми пеструю, ковровую, бархатную, какъ мурава, дорожку.

Хотѣлось броситься на нее, зарыться въ пухъ сладкихъ обѣщаній головой, не слышать голоднаго воя глухихъ раскатовъ. И всѣ эти слова о грядущемъ царствѣ, о правдѣ и радости на землѣ, — вѣдь и есть кусочки души бездѣйствующаго Рудина, великаго всероссійскаго Резонера, который воистину долженъ быть

коронованъ, какъ самый типичный современникъ сейчасъ на Руси.

Вѣдь, разберитесь во всѣхъ этихъ словахъ, что роняли Рудины съ трибунъ, съ кафедръ, со страницъ своей печати. Развѣ идеи плохи, слова не ярки, мысли не благородны, не проникнуты жаромъ и трепетомъ, тоскою по инымъ, лучшимъ днямъ для всѣхъ? Всѣ эти Рудины, часто благородные фантасты, ярые Донъ-Кихоты, рыцари, рвущіеся къ облакамъ. Соберите, все что ими было разбросано съ кафедръ, съ трибунъ, съ передовицъ партійной прессы. Это подлинныя мечты о лучшемъ, подлинныя грезы, тѣ самыя грезы, которыя привели настоящаго Рудина, праотца теперешнихъ, на чужія баррикады Парижа.

Чужія? Такъ ли? Смотрите, не прообразъ-ли это безразличія къ своей національной идеѣ, не прогнозъ ли это интернаціоналистическаго марева, въ которомъ мы сейчасъ живемъ? Не вдохновенное ли предвидѣніе, не геній ли правды водилъ рукой Тургенева, заставивъ его бросить Рудина именно къ парижскимъ коммунарамъ, даже не знавшимъ его и принявшимъ за какого то Polonais. Вы помните?

«Этотъ Polonais былъ Дмитрій Рудинъ».

И проклятье наше заключается вовсе не въ томъ, что наши интеллигентные, партійные и не партійные, буржуазные и не буржуазные Рудины плохи или не плохи. По существу быть можетъ не всѣ они плохи, эти прекрасные мечтатели, эти интеллигентные Сютаевы, эти сектанты, съ обращенными внутрь себя гла-

зами. Проклятье въ томъ, что они органически не способны на будничную, строительную работу. А это намъ и нужно.

Должны звенѣть и пѣть вокругъ насъ пилы, жадно и щелкающе долженъ ухать топоръ и всхлипывать, объѣдаясь стружками, рубанокъ. Должно идти строительство. Надо строить Россію. Нужна проза. Нужны будни. Въ гирляндахъ стружекъ, въ лѣсахъ, вся заполненная муравьиною, трепетной жизнью съ бѣгущими по лѣсамъ каменьщиками, со щелканьемъ забиваемыхъ гвоздей, должна возвышаться, какъ новое зданіе, Россія. А развѣ Рудинъ — каменщикъ? Развѣ ювелиръ — кузнецъ?

Нашъ современный Рудинъ — органическій, наслѣдственный резонеръ. У него созерцательная, красиво мыслящая, благородная, но, «холостая», не оплодотворяющая душа.

Скатываются, какъ въ картинѣ Сомова по вечерѣющему небу алмазныя слезы, какъ брызги, какъ капли, какъ красивыя слова. И все.

Это — раздумчивая, медленная, тоскующая, какъ ковыль русской степи, какъ необозримая ширь русскихъ равнинъ, славянская душа. Что создало ее такою? Не давній-ли татарскій гнетъ, загонявшій душу внутрь и заставившій ее надолго (до сегодняшняго дня) звенѣть скорбнымъ напѣвомъ русской народной пѣсни? Она, эта мелодія души, то вспыхнетъ дробной поступью деревенскаго танца, то поникнетъ и понесется вдоль маревъ дѣвичьей, русалочьей пѣснью. Такова и душа. Словно она сидитъ у косогора, у

плетня и смотритъ, не насмотрится, плачетъ, не на-
плачется, пляшетъ, не напляшется...

Мы преимущественно смотримъ, думаемъ, раз-
суждаемъ, резонируемъ. Просторъ-ли у насъ такой
въ странѣ, или душа наша безмускульная, лишь при-
щурившись, созерцающая...

А вокругъ насъ, у другихъ, какой шумъ рубан-
ковъ, визгъ пилы, жадный стукъ топора! Тамъ стро-
ятъ, строятъ, строятъ. Вогъ, еслибы надо было по-
строить прекрасный волшебный замокъ, воздушный и
весь пронизанный, какъ лучами солнца, какими-то
обѣтованіями... Для такихъ замковъ мы — архи-
текторы. Но для поселковъ, для домовъ, для город-
скихъ кирпичныхъ зданій, для лязга и грохота жизни
— мы не строители.

И чувствуется, думается, вѣрится, чуется, что
должны будутъ изъ разныхъ слоевъ русской жизни
завихриться и слиться въ одной творческой, созида-
тельной струѣ новые творцы прозы нашей жизни
строители нашего быта, «американцы», что-ли, на-
шего уклада. Они вознесутъ зданіе. Они сумѣютъ
обмазать кирпичи крѣпкимъ, не разведеннымъ «Кіен-
тальской» водичкой, цементомъ. Это будетъ хорошее
крѣпкое, прочное, русское зданіе.

Но это въ будущемъ.

А пока?

Пока... радостно проревѣвъ, словно вздохнувъ
съ шумомъ взлетѣла ракета нашего недавняго и, въ
сущности, такого «давнопрошедшаго» марта.

Затѣмъ стали опадать, на темнѣвшемъ фонѣ, прекрасныя мысли нашихъ фантастовъ, нашихъ никчемниковъ, Рудиныхъ. Прекрасныя мысли, какъ догоравшія звѣзды и стрѣлы огня, плыли цѣлымъ дождемъ, каскадомъ, и гасли и таяли... красивыя, красивыя, благородныя, но никому сейчасъ не нужныя.

А теперь?

Дымный чадъ, и угаръ, терпкій, съѣдающій до боли и стыда, дымъ.

И только.

Фейерверкъ... Фейерверкъ...

———

Подполье.

На извѣстной глубинѣ морской пучины, тамъ, гдѣ ровная, зеленая «синь и гладь» создаетъ зыбкій сумракъ, — рождаются странныя, своеобразныя животныя. Морское дно на этой глубинѣ живетъ подвижной, напряженной жизнью. Если всмотрѣться, милліоны существъ, хотя и сжатыхъ колоссальнымъ давленіемъ водяного столба океана, живутъ, копошатся, сползаются, расползаются... Тамъ своя мистика жизни, тихій, подводный, глубинный темпъ окованнаго жуткимъ давленіемъ бытія. И, если всмотрѣться, одна прихотливая, на первый взглядъ, капризная, но по существу мудрая деталь природы бросается въ глаза.

Эти животныя или слѣпы, или имѣютъ громадныя, качающіяся на длинныхъ стебелькахъ, фацеточныя, составленныя изъ сотенъ призмочекъ глаза. У нихъ, словно цѣлый оптическій магазинъ въ этихъ выпуклыхъ чечевицахъ. Бинокль на биноклѣ, призма у призмы, — эти глаза преломляютъ каждый ничтожный отблескъ свѣта, проникаютъ въ темень, буравятъ вѣчную подводную ночь. А другія животныя совсѣмъ слѣпы. На что имъ глаза, если вокругъ вѣчная тьма? Они возмѣщаютъ

свою слѣпоту рафинированнымъ изощреніемъ осязающихъ сосочковъ и щупалецъ. Они не видятъ, они осязаютъ.

Возьмите ихъ изъ этой глубины и бросьте на берегъ, на свѣтъ, на приволье. Пускай прихотливая волна выплеснетъ ихъ, лѣниво и щедро, цѣлой колоніей, цѣлымъ зеленымъ пятномъ вмѣстѣ съ иломъ и пухлыми, водяными растеніями—прямо на песокъ. И посмотрите, какъ заворошатся, какъ повылѣзутъ изъ родной зелени и тины странныя глазастыя или безглазыя существа, то съ ровной, роговой, какъ бѣльмо, оболочкой на мѣстѣ глаза, то съ длинными, качающимися, глазастыми стеблями. Какъ имъ все кажется огромнымъ! Какъ все причудливо и кошмарно преломляется въ ихъ выпуклыхъ оптическихъ складахъ... Какимъ бревномъ кажется вотъ эта сухая травинка, какимъ гранитнымъ валуномъ маячитъ вотъ эта мелкая песчинка! Все полно вокругъ чудовищъ, громадныхъ тѣней, дикихъ призраковъ, гигантскихъ привидѣній. Все давитъ, грозитъ, жметъ и хочетъ расплющить... Боже мой! Въ страхѣ вертятся на зеленыхъ, качающихся стебляхъ глаза и всюду страхъ, всюду ужасъ, всюду гигантскій масштабъ, всюду что то большое, обрекающее, подозрительное, засѣвшее, караулящее. Тамъ въ зеленой глуши—эти глаза были нужны, ибо была темь, мракъ, дно—здѣсь, на смѣющемся пляжѣ, подъ щедрымъ и ласковымъ солнцемъ — они не нужны, они опасны. Они мѣшаютъ жить...

Наше «п о д п о л ь е», гдѣ жила загнанная прежнимъ режимомъ революціонная мысль — было именно какимъ то дномъ, густымъ, гнетущимъ сумракомъ. Это

были потемки, странно искажавшія очертанія, заставлявшія жить въ вѣчной настороженности, въ сумеркахъ духа. Естественно развилась подозрительность, особая психика «подполья», сдавленная, сжатая душа, то слѣпая, то зрячая, болѣзненно расширенными зрачками приспособлявшаяся къ окружающимъ сумеркамъ. Революціонная мысль послѣднихъ десятилѣтій была не только загнана въ подполье, гдѣ создалась душная, придавливающая, гнетущая атмосфера мрака; нѣтъ, мало того, на ней выросъ зловѣщій наростъ внутренняго предательства; на «подпольныхъ» глазахъ силою вещей, какъ на морскомъ днѣ, превратившихся въ оптическій магазинъ, гдѣ эсеровскія чечевицы пришлифовывались къ эсдековскимъ призмамъ, на этихъ глазахъ, и безъ того уже подозрительныхъ и воспаленныхъ, выросъ катарактъ «азефовщины». Подполье заметалось въ тоскѣ и ужасѣ. И безъ того недовѣрчивое, чуткое къ каждому шороху, къ каждому бряцанію шпоръ, звенѣвшихъ за дверью и пришедшихъ «для обыска», оно еще болѣе замкнулось въ себѣ. Стало страшно: неужели въ каждомъ Ц. К. (центральномъ комитетѣ) та же саркома, тотъ-же наростъ предательства? . . Но тогда, вѣдь, жить нельзя! . . И къ революціи, къ этому ослѣпляющему нежданному—вихрю—«подполье», въ сущности, подошло, разъѣденное внутренними сомнѣніями, неустройствомъ и истерзанное. И сразу же на кафедрахъ, трибунахъ и митингахъ, зашевелились эти, безглазые, слѣпые люди. Заискрились эти громадные, отшлифованные, долгой брошюрной, эмигрантской шлифовкой чечевичные глаза на длинныхъ, качающихся стебляхъ. Развѣ

вы не видѣли, что на кафедрахъ часто стояли люди, пришедшіе сюда отъ другого атмосфернаго давленія? Болѣзненно, выпукло, призматически, сквозь тысячу призмъ воспринимали они бытіе Россіи.

Кисмэтъ. Въ какую-то жестокую Книгу Судебъ мы записаны, на какой то жестокой, карающей страницѣ тамъ значимся. Историческая Немезида, самый точный бухгалтеръ. Она работаетъ, словно со стальной, счетной машинкой. И если на одной сторонѣ бухгалтерскаго расчета значился Распутинъ, то какъ же на другой страницѣ, какъ опредѣленному, исторически-необходимому эхо, не появиться Троцкому? А сальдо? Итогъ? Истерзанная, униженная Родина, мать наша. Ибо Распутинъ былъ такъ махрово послѣдователенъ, давленіе его режима на подполье было такимъ сказочмымъ, что долженъ былъ родиться и родился чудовищный рефлексъ. На оборотѣ монеты, гдѣ былъ вытисненъ Распутинъ, отчеканился Троцкій. И не теперь онъ выдавился тамъ. Нѣтъ, еще тогда, когда на одну сторону монеты давилъ чудовищный, кошмарный ликъ Распутина, на другой еще тогда, еще до революціи, чисто автоматически выдавливался, штамповался, неизбѣжно и неотвратимо, ликъ Троцкаго. Слишкомъ кошмаренъ былъ штампъ, чтобы не появился кошмарный протестъ, рефлексъ, каррикатура его изнанки, гримаса въ кривомъ зеркалѣ Исторіи. И напрасно думать, что мы живемъ въ какой то новой полосѣ исторіи. Нѣтъ, мы продолжаемъ изживать прошлое.

И едва ли не самымъ страшнымъ послѣдствіемъ его являются эти, то слѣпые, то сверхъ-зрячіе люди,

эмиссары подполья, нынѣ дружною гурьбой заполнившіе верхи нашей жизни. Брошюра, доктрина, книга, догма, буква, параграфъ, . . партійная мнительность, подозрительность, недовѣріе къ чужому и часто къ своему, . . фанатизмъ, сектанство, горящіе, внутрь себя устремленные глаза. Какая гримаса судьбы, что именно это намъ сейчасъ предопредѣляетъ Исторію, обрекаетъ и подводитъ щелкающей, костлявой костяшкой неотвратимый итогъ. Что же дальше? Вѣдь училъ когда то Гегель въ своей тріадѣ, что послѣ тезиса и полнаго противоположнаго ему антитезиса — долженъ неизбѣжно и неотвратимо, какъ историческая необходимость, родиться облегчающій, разрѣшающій, благословляющій синтезъ. Если тезисъ былъ: — Распутинъ, то надо сознаться, мы его прошли до конца. Эту фазу мы цѣликомъ изжили и вступили въ полосу его выверта, гримасы, противоположности, антитезиса, Троцкаго. И надо имѣть смѣлость и мужество признаться, что намъ прійдется пройти и этотъ фазисъ цѣликомъ, до конца. Намъ не отвертѣться отъ него, онъ долженъ быть изжитъ полностью. Противъ страницы, заполненной Распутинымъ, должна быть другая, противоположная страница, заполненная его антитезою. Крестнымъ путемъ влеклась Русь по прежнему торному пути крестнымъ путемъ предстоитъ ей идти еще по противоположному, но изумительно похожему на прежнее шоссе. И лишь въ концѣ — какое то обѣтованіе, какой-то неизбѣжный синтезъ, какой-то разрѣшающій, освобождающій, окрыленный аккордъ. Синтезъ будетъ

Двѣ ипостаси сольются въ одну. Исторія послѣ Распутина съѣстъ и Троцкаго. Это также неизбѣжно, какъ то, что онъ появился и то, что будетъ еще быть можетъ долго побѣдителемъ.

А послѣ?

Послѣ: вѣримъ, вѣримъ, вѣримъ въ Воскресенье. «Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію».

———

Трещины.

Одинъ изъ виднѣйшихъ геологовъ новѣйшаго времени, Зюссъ въ „Antlitz der Erde“ посвящаетъ много красочныхъ страницъ сжатію земного ядра, охлажденію внутренней раскаленной массы и «сморщиванію» земной коры. Кипящее ядро земли понемногу тухнетъ и чуть сжимается; покрывающая эту лаву кора сморщивается, то выпираясь въ мучительномъ, творческомъ процессѣ цѣлыми горными кряжами, то расползаясь разсѣлинами и трещинами. Вотъ откуда эти морщины и борозды, эти бугры и складки старости на лицѣ старушки-земли...

Невольно вспоминаешь Зюсса, переходя отъ землетрясеній вулканическихъ къ соціальнымъ сдвигамъ и колебаніямъ. Наше раскаленное революціонное ядро давно уже излучило въ пространство, въ торичелліеву или... циммервальдскую пустоту — большую часть своего теплового запаса. Языки пламени, взметнувшіеся когда-то, — исчезли. И революція подалась, сперва посѣрѣла зловѣщими пятнами обыденщины, сѣраго пепла. А потомъ стала будняМи, тоскливыми,

угрюмыми — а за послѣдніе годы — постыдными, зловѣщими, окровавленными.

Остыла радость; погасло пламя; испарился хмѣль. И вмѣсто свадебныхъ напѣвовъ, пришелъ плачъ. А потомъ — скорбь, ужасъ, позоръ, пытка, стенаніе, небытіе.

Не пророкомъ-ли былъ Андрей Бѣлый, когда много лѣтъ тому назадъ, словно шаманъ, словно Пифія, напившись бредовымъ волшебнымъ напиткомъ, полубезумно пророчилъ:

Туда, гдѣ смертей и болѣзней
Лихая прошла колея,
Исчезни въ пространство, исчезни,
Россія, Россія моя . . .

Что-жъ? Ядро, раскаленное ядро, лава революціи охладѣла. Кой-гдѣ пятнами пошла по ней сѣрость, обыденность. Шипя, позастывали на ней липкія лужи крови. Этотъ періодъ мы пережили. И вотъ теперь, когда сжалось и охладѣло ядро, сморщивается и даетъ глубокія трещины та внѣшняя корка, тотъ панцырь, та крѣпкая кожура, окрѣпшая и огрубѣвшая столѣтіями, какъ мозоль, — что покрывала Россію кожею, какъ живой и единый организмъ. Ядро, раскаленная лава чуть сжалась, чуть осѣла . . . Остылъ энтузіазмъ, покрылось пепломъ сердце — и сразу вслѣдъ за нимъ осѣла и покрылась зловѣщими трещинами внѣшняя корка Россіи, ея карта, ея внѣшній ликъ, „Antlitz der Erde“ . . .

Эти глубокія, историческія, почти «геологическія» перемѣщенія, сдвиги — мѣняютъ нашъ ликъ, рвутъ ста-

рые швы, наложенные еще скопидомной рукой перваго нашего домовитаго собирателя, Ивана Калиты. Вотъ онѣ, змѣящіяся, трещины и за Бѣлоостровомъ, и вдоль предгорья Кавказа, и ближе къ Уралу, и ближе къ Днѣпру, и близъ самой Молдавіи . . . Трещины, трещины, трещины . . .

Все дальше отходитъ одинъ берегъ зіяющей пропасти отъ берега прежней Россіи. Прямо видно, какъ на глазахъ ширится трещина, и люди на томъ берегу, надъ обрывомъ и свѣсомъ становятся черными точками и уже не слышно словъ и нельзя столковаться . . .

— Ау!

. . . Иногда, когда новѣйшіе поэты и ясновидцы не даютъ отвѣтовъ на проклятые вопросы, на тоскливыя недоумѣнія, на горесть и муку души, полезно взять кого либо изъ «стариковъ». Вмѣсто хрупкой, полихромной глины — спокойный и бѣлый мраморъ.

Возьмемъ записную книжку Пушкина. Это тѣ осколки мрамора, безсмертныхъ мыслей, что падаютъ въ студіи скульптура. Или, вѣрнѣе, это черновые прообразы, интуитивные контуры будущихъ твореній. Мы найдемъ тамъ между разсыпанными афоризмами о М-ме de Stael, о «желѣзной маскѣ», о Вольтерѣ — одну короткую строчку, которую надо было-бы выбить на фронтонѣ русской исторіи и русской революціи: «Безъ труда нѣтъ истинно великаго».

Неужели это сказалъ Пушкинъ? Этотъ баловень своего генія? Этотъ сказочный мотъ, бросавшій пригоршнями свое вдохновеніе?

Да. Это сказалъ именно онъ, чьи черновики по-

казываютъ столько кропотливаго труда, чьи бумаги полны сгущеннымъ т р у д о м ъ.

Типичный-ли русскій интеллигентъ Пушкинъ? Нисколько. Въ его черновыхъ наброскахъ есть нѣсколько строкъ, посвященныхъ имъ психологіи Петра. Онъ пишетъ: «Достойна удивленіями разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго и исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ для будущаго; вторые — вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика».

Что-бы сдѣлалъ русскій интеллигентъ, средній русскій интеллигентъ съ этой темой? Боже мой! Онъ расцвѣтилъ бы ее тысячью узоровъ, лампіоновъ, внутри зажегъ бы лампадку народолюбія («деспотъ, молъ, былъ Петръ») и, закусивъ удила, помчался бы... Что дѣлаетъ Пушкинъ?

Въ его записной книжкѣ подъ этою замѣткой значится всего одна короткая строчка: „N. B. Это в н е с т и въ исторію Петра, о б д у м а в ъ».

«Обдумавъ»? Откуда такое слово? Что оно значитъ? Развѣ у насъ что либо «обдумываютъ»?

Русская интеллигенція, вымолившая страданіями дучшихъ своихъ сыновъ и выносившая въ тайникахъ сердца—Революцію,—не знала труда въ смыслѣ усидчивости. Тяжелую, убогую жизнь—она знала. Но трудъ, какъ черта характера, какъ вдумчивость, проникновеніе, изученіе деталей — ей чужды. Она — импрессіони-

стична. Гегельянская въ девятнадцатомъ вѣкѣ, она вмѣстѣ съ Чернышевскимъ и Писаревымъ становится грубо позитивной и, спрятавъ бюстъ Шекспира, молится сапогамъ. Марксистская и народническая въ концѣ вѣка, она подъ пеленою наступившей реакціи уходитъ въ литературный импрессіонизмъ. Истекшія десять лѣтъ на ея столикѣ были набросаны «альманахи» ... Отъ нелегальной «Искры» и «Революціонной Россіи», черезъ пятикопѣечныя брошюры «Молота» и «Буревѣстника», черезъ альманахи «Литературный распадъ» со статьями Стеклова и Луначарскаго къ Леониду Андрееву и снова къ «Искрѣ» и «Революціонной Россіи», на этотъ разъ уже легальнымъ. Это политическая лихорадка, это смѣняющіяся пятна импрессіонизма, но это — не трудъ. Это кинематографъ, «плѣнной мысли раздраженіе», раскрашенный мазками плакатъ — но не гравюра, которую острымъ, многолѣтнимъ рѣзцомъ гравируютъ въ своемъ характерѣ другіе, напримѣръ, англо-саксъ.

Свою безпочвенность, неусидчивость, неврастеничность она, эта интеллигенція, возглавившая собою революціонныя ячейки, принесла и въ революціонное строительство. Она принесла свою порывистость, экзальтацію, максимализмъ и сектантское упрямство. Все кромѣ планомѣрности, настойчивости, усидчивости.

Она была словно экранъ кинематографа, на которомъ играли лучи чужой игры. Но ни одна картина не проросла полотна насквозь.

И Немезида пришла въ свое время. Пафосъ остылъ, восторгъ замеръ, окружающее потускнѣло. Ядро революціи чуть застыло и сжалось. И сразу, словно ссох-

шись, сжалась вся Россія. А когда эта корка сжалась, по ней треснули и зазмѣились зловѣщія трещины, по почвѣ, по родной, родимой, вѣдь, намъ русской землѣ.

Трещины, трещины, трещины...

Развѣ, впрочемъ, у насъ есть почва?

«Въ произвольной безпочвенности, — говоритъ Мережковскій въ «Грядущемъ Хамѣ», — «въ страшной свободѣ духа, въ способности внезапно отрываться отъ почвы, отъ быта, исторіи, сжигать всѣ свои карабли, ломать все свое прошлое во имя неизвѣстнаго будущаго, — въ этой произвольной безпочвенности и заключается одна изъ глубочайшихъ особенностей русскаго духа».

Кто-жъ виноватъ въ этой расползающейся, какъ липкая опара, какъ тѣсто, почвѣ? Кто ее создалъ такою?

Они, безпочвенники, боявшіеся любить Россію («что скажутъ угнетенные всѣхъ странъ?»). Они, отмежевавшіеся отъ слова «патріотизмъ», ставшаго удѣломъ ближайшаго полицейскаго участка. Они, любившіе лишь втихомолку, — какъ франтящіе сынки стѣсняются своей старой матери въ бурнусѣ и трясущейся наколкѣ; — любившіе исподтишка и березки нашихъ лѣсовъ, и просторы русскихъ полей, серебро левитановскихъ рѣчекъ, грустныя, задернутыя паутиной просѣки, суровыя важныя, шишкинскія деревья и чудное прекрасное, святое, народное сердце... Что съ тобой стало? Гдѣ ты?

— Ау?

Неужели и по сердцу: трещины, трещины, трещины...

Блѣдная немочь.

. Говорятъ, что сумасшедшіе, слабые и полубольные, казалось, не могущіе поднять золотника, вдругъ проявляютъ столько мышечной силы, такъ буйно, стремительно и напряженно вливаютъ въ свои мускулы — «волю», что рвутъ путы, валятъ рослыхъ служителей, сокрушаютъ мебель, двери и запоры. Въ чемъ дѣло? Дѣло въ сгущеніи воли. Вся психически искаженная, какъ въ кривомъ зеркалѣ, но все-же существующая воля, вошла у нихъ въ мускулы. Весь человѣкъ—однѣ мышцы. Это послѣднее, крайнее, экстатическое напряженіе, собирающее и сгущающее все бытіе человѣка, все его «я», — въ одномъ повелительномъ, дикомъ, ликующемъ и буйномъ мускульномъ порывѣ! Онъ рветъ веревки, какъ нитку, и ломаетъ въ щепы подвернувшійся стулъ. Даже въ пальцахъ, напряженно-скорченныхъ, скрюченныхъ, ставшихъ вдругъ желѣзно-эластичными, столько упрямой ломающей силы.

Понятно, онъ боленъ. Понятно, онъ безуменъ. Но взгляните, что дѣлаетъ обнаженная воля, если она вливается вся до конца въ какое либо дѣло.

Вглядитесь въ человѣка, обороняющагося въ минуты смертельной опасности, когда на-лицо инстинктъ самосохраненія. Когда все «я», все бытіе, вся психика уходитъ въ физику движеній, когда онѣ становятся то тихими, вкрадчивыми, уклоняющимися, еле слышными — то буйными, дерзкими, полубезумными, идущими на все. Весь человѣкъ, или весь коллективъ, — все равно, — въ одномъ повелительномъ желаніи, какъ гипнотизирующій флюидъ — побѣдить, остаться въ живыхъ. Это кажется парадоксомъ, но побѣда — это и есть сгущенная воля, а напряженіе воли до конца, какъ у безумныхъ или людей въ смертельной опасности, это и есть обезпеченная побѣда.

«Стоитъ только захотѣть».

Какъ? Мы не хотѣли побѣдить? Послѣ этихъ долгихъ лѣтъ крестнаго хода вдоль окоповъ, изнемогающая, обезсиленная, со вскрытыми, хлещущими артеріями, эта омытая въ крови Русь — не хотѣла побѣдить?

Разумѣется, хотѣла. И былъ у нея восторгъ и ожиданіе побѣды еще въ 914, и былъ у нея восторгъ и жажда чуда въ началѣ революціи въ 917-мъ.

Жаждали, надѣялись, вѣрили. Но желали-ли до конца? Была-ли сгущена единая воля, были-ли напружены, налиты единою волей мышцы народныя? Была-ли воля побѣдить? Та, стоящая на грани безумія, маніакальности воля, которая рветъ всѣ путы, заставляетъ ощетиниваться всю страну, какъ травимаго звѣря, зажигаетъ глаза фанатической вѣрой въ себя. Оскалилась-ли Россія, зажмурилась-ли въ послѣдній

разъ, схватила-ли оглоблю или палицу, какъ Ослябя или Добрыня Никитичъ и почала-ли крушить: «повернетъ на-лѣво — улица, на-право — переулочекъ».

Вотъ это уже пора сказать. Не было упоенія. Не было вдохновенія. Война не была героическою, эпическою, былинною.

Былъ подвигъ, даже подвижничество. Были неизбывныя муки и страданія народа, милліоновъ единицъ. Была Голгофа матерей, терявшихъ своихъ близкихъ. Былъ тяжкій, крестный путь. И былъ восторгъ.

Но вдохновенія не было.

Ихъ нельзя смѣшивать. «Безъ вдохновенія нѣтъ истинно великаго», говоритъ Пушкинъ въ одной изъ небольшихъ замѣтокъ въ записной книжкѣ на поляхъ. И безъ труда также. Восторгъ, говоритъ онъ тамъ же «непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно, не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества».

Какія символическія, полныя вѣщаго для насъ смысла строчки... Вдохновеніе — это свѣтлые, ясные корридоры, спокойные, всесильные, залитые ровнымъ, все пронизывающимъ свѣтомъ. Вдохновеніе — это напряженіе (не конвульсія, а именно напряженіе) всѣхъ силъ, открытость всего естества, солнечность души. А восторгъ—это узкая, блестящая, граненая, стеклянная башня, возвышающаяся надъ однимъ моментомъ. Вдохновеніе—это почти спокойствіе. Восторгъ—это водопадъ, алмазныя брызги души. Не даромъ въ той же замѣткѣ Пушкинъ вспоминаетъ «лучшее про-

изведеніе Державина «Водопадъ» и укоряюще спрашиваетъ: «какой въ этомъ произведеніи планъ?» «Единый планъ Дантова Ада», говоритъ онъ нѣсколькими строками выше, «есть уже плодъ высокаго генія».

Итакъ одинъ только планъ великой вещи, великаго замысла — уже геніаленъ.

Именно плана-то у насъ никогда не было. Не было этой «двухверстки генеральнаго штаба», на которой стояла бы надпись: «Планъ побѣды русскаго государства».

Гомеръ выше Пиндара. А мы писали оду. Восторженную оду. Тяжкими муками народу далась революція. Можетъ быть потому, что у насъ въ душѣ не было плана? Это былъ восторгъ вѣры, восторгъ порыва и влеченія къ чуду — но не была былинности, эпоса, величаваго, какъ Микула, какъ Иліада, вдохновенія.

Ихъ надо различать, этихъ двухъ двоюродныхъ братьевъ: восторгъ и вдохновеніе. Посмотрите, величайшій, по болѣзненной интуиціи, прозорливецъ Достоевскій, говоря о Бѣлинскомъ, никогда не употребляетъ слова «вдохновеніе». Для «неистоваго Виссаріона» у него въ запасѣ есть слова «восторженная натура». У Достоевскаго, этого ювелира слова, этого кудесника, знавшаго волшебную тайну музыки словъ, ихъ разстановки, ихъ оркестровки, не спроста дѣлался выборъ термина.

Восторгъ, даже не восторгъ, а восторженность, «неистовость», умиленность — типичныя черты праотца нашей интеллигенціи. И она хранитъ это фа-

мильное сходство. Война выявила это лишній разъ. Въ народѣ — тяжкій, угрюмый трудъ войны. А «наверху» — «восторги безъ конца». Поднятость, подвинченность, минутность, неврастеничность, «неистовость». Невольно вспоминаешь солнечнаго Пушкина: «Восторгъ исключаетъ спокойствіе — необходимое условіе прекраснаго». О какомъ «спокойствіи» можетъ идти рѣчь? Развѣ это въ нашемъ стилѣ, въ нашемъ «восторженномъ», всхлипывающемъ (глаза на мокромъ мѣстѣ) характерѣ? Развѣ мы, эти духовные „die oberen Zehntausend“ показали народу планъ происходящаго? А если его, этого плана, вовсе не было, зачѣмъ же примазались къ войнѣ, зачѣмъ барабанили? Очень просто: и эти «верхніе десять тысячъ» не лгали, они были искренни. Подобно тому, какъ лгавшій Хлестаковъ самъ вѣрилъ во всѣ причудливые извивы своего вранья и въ испанскихъ посланниковъ, сидѣвшихъ съ нимъ за картами, такъ и интеллигенція или, точнѣе, большіе слои ея восторгались и сами вѣрили въ фантомы своего восторга, своей неистовой восторженности.

Не было плана. Не было эпоса. Не было народной Иліады.

Не ощетинилась Русь; не изготовилась къ послѣднему прыжку; не присѣла, оскаливъ зубы, на заднія ноги; не напрягла своихъ мышцъ единой, мучительной, забывающей все, полубезумною волей. Вятскій солдатикъ говорилъ: «Намъ ничего. До насъ не дойдутъ».

И менѣе всего виноватъ самъ народъ, въ расползавшихся сѣрыхъ шинеляхъ отсидѣвшій свои годы.

Виноваты эти oberen Zehntausend, «идеологи», не смогшіе подсказать плана, никогда его, впрочемъ сами не имѣвшіе.

И это съ потрясающей, жестокою очевидностью показала Революція. Въ ней былъ прекрасный и святой восторгъ. Шелестъ знаменъ. Пурпуръ знаменъ. И ласкающая красота лозунговъ. Неистовый Виссаріонъ не одинъ разъ сходилъ бы на Марсово поле, могилу первыхъ жертвъ революціи, и не одну волнующую страницу посвятилъ бы этому «нынѣ отпущаеши». Узналъ бы «кто виноватъ?» — просіявшій Герценъ. И не спрашивалъ бы больше, «что дѣлать?» Чернышевскій. И дѣйствительно, развѣ на столбцахъ порозовѣвшей, покраснѣвшей всѣми оттѣнками соціализма, прессы не лучился восторгъ? Развѣ не проступала всхлипывающая, почти нервозная восторженность?

Революція въ этой плоскости, какъ ее замыслили февральскіе и мартовскіе творцы, — не удалась. Она соскочила съ колеи въ іюлѣ и понеслась вскачь въ невѣдомую даль въ октябрѣ 1917-го. Не удалась и война. Это страшный, обрекающій приговоръ, словно стукъ гвоздей о крышку гроба. Ибо ни въ революціи, ни въ войнѣ не было торжественнаго, величаваго, смывающаго все мелкое, земное и временное вдохновенія. Восторгъ былъ. Не даромъ онъ излился въ звукахъ Руже-де-Лиля, заимствовавъ изъ его Марсельезы контрапунктъ революціоннаго «дѣйства».

Ужасъ въ томъ, что не было вдохновенія, великаго, переходящаго въ вѣка, какъ Парфенонъ или

Акрополь. Былъ восторгъ партій, блескъ лозунговъ, манящая теплота обѣщаній и животная радость погрѣться на солнышкѣ свободы, на самомъ припекѣ, раскорячившись.

«Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно, не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство. А вдохновеніе нужно также въ геометріи, какъ въ поэзіи». (Зап. книжка Пушкина).

Вотъ именно. Этого у насъ не было. Не было геометріи. Не было плана. Прямая Евклидовская черта войны шла зигзагомъ и оборвалась въ какой-то провалъ падучей, трясущейся линіей. Кривая революціоннаго подъема расщепилась, и распылилась волнистыми блѣднѣющими, угасающими линіями. Народъ, потерявшій свой планъ. Вѣрнѣе, не получившій его отъ своей интеллигенціи. Народъ, потерявшій свой путеводитель, свой «Бедекеръ». Народъ, имѣвшій своимъ поводыремъ человѣка, привезшаго еще со временъ Ленскаго изъ Германіи «учености плоды, духъ пылкій и довольно странный: всегда восторженную рѣчь и кудри черныя до плечъ».

Мышцы не напряглись послѣдней, рѣшающей волей для борьбы ни на войнѣ, ни въ революціонномъ тылу. И тутъ, и тамъ волевымъ большевикамъ не трудно было взять утомившихся, запарившихся людей почти голыми руками. Надо въ этомъ признаться: не умѣли хотѣть до конца. Были чужды вдохновенію.

Должны были строить Акрополь, а въ падучей колотили Василія Блаженнаго.

И въ войнѣ, и въ революціи дали восторгъ, не давъ вдохновенія. А только во вдохновенномъ — великое. Ибо Гомеръ всегда выше Пиндара.

«Если народъ сломится», — писалъ когда-то Герценъ, — «новый Китай неминуемъ».

Что-жъ будетъ дѣлать «китайская интеллигенція?»

«Блѣдная немочь» — сказалъ какъ-то Мережковскій про нее. «Слово у нея для слова, а не для дѣла. Чтобы вылѣчиться, надо вернуться къ дѣлу. Хорошо говоритъ тотъ, кто хорошо дѣлаетъ».

Неужели же Русь не заслужила вмѣсто словесной оды — эпическаго дѣла?

———

Была и нѣтъ.

Недавно, въ разговорѣ, одинъ знакомый швейцарецъ сказалъ съ какимъ-то особеннымъ оттѣнкомъ убѣжденности и удовлетворенія:

— У насъ, въ Бернѣ, этого-бы не позволили.

Простая, пустяшная фраза, вырванная изъ разговора. Но онъ произнесъ ее съ такимъ внутреннимъ вкусомъ, съ такими, устремленными вглубь, внутрь себя глазами, что она пріобрѣла сразу словно значеніе символа вѣры: «У н а с ъ въ Бернѣ». Точно заглянувъ въ душу, онъ видѣлъ свои улички, изящныя, картонажныя горы, съ подклеенными къ нимъ гумми-арабикомъ игрушечными соснами, кондитерскими коровками и сахарными глетчерами. Онъ вспомнилъ все это и сказалъ просто и убѣжденно, словно прислушивался къ себѣ: «У н а с ъ въ Бернѣ». У него есть, этотъ Бернъ, pied-à-terre духа. Онъ рабочій или фабрикантъ, артистъ или поденщикъ, — безразлично — у него есть этотъ «Бернъ». Онъ возвращается къ нему мысленно, какъ для провѣрки. Онъ смотритъ въ него, какъ въ vade-mecum души, какъ въ Бедекеръ, какъ въ справочникъ. Когда возникло какое-либо жизненное сомнѣніе, когда

нужно опредѣлить свое отношеніе къ новому жизненному вопросу, когда надо этотъ вопросъ измѣрить, — вытаскивается «аршинъ» — «у насъ въ Бернѣ» и мѣрится. Не укладывается — плохо; уложится — хорошо. У нихъ есть съ чѣмъ сравнивать.

А у насъ?

Кто внѣдрялъ намъ въ душу наше: «у насъ въ Бернѣ»? Кто въ дѣтствѣ училъ любить свое? Кто научалъ аромату родного, родныхъ полей, васильковъ, — лѣсовъ, лапчатыхъ сосенъ и бѣлыхъ стройныхъ, какъ подвѣнечныя дѣвушки, березъ... Кто приходилъ и указывалъ, будилъ въ душѣ это чувство, робкое и трепетное, какъ любовь, могущее внѣдриться и прорости всю душу, на всю жизнь цѣпкими корнями. Какой слой народа давалъ своему подроставшему поколѣнію, — дѣтямъ, этимъ «цвѣтамъ земли», атмосферу любви къ «своему»? Крестьяне? Тамъ была тьма. Любили, пожалуй, свое село, свои завалинки, плетень и косогоръ, душистое сѣно и хороводы за рѣкой. Но, вѣдь, это была скорѣе «туземная» привязанность къ тѣсно очерченному кругу земли, а не широкое созвучное ощущеніе общности всей земли. Уже пермякъ, какъ къ чужаку, шелъ къ туляку, а орловецъ иронически могъ поглядывать на «цокающаго» псковича. Солдаты разсказываютъ, что передъ самымъ штыковымъ боемъ, тягчайшимъ моментомъ современной людской бойни, въ окопахъ происходили какія то странныя перемѣщенія. Солдаты мѣнялись мѣстами. Земляки шли къ землякамъ. «Все-таки не такъ страшно. Свой пойметъ скорѣе»... Понятно, въ крестной дорогѣ, что прошла рус-

ская деревня по галиційскимъ полямъ — былъ безропотный подвигъ, было тихое, непротивленское подвижничество. Но ощущенія всеединости, слитности «общерусскаго фронта», этого гипнотизирующаго знаменія впереди: «Россія, Россія, наша Россія...» — этого не было.

Быть можетъ, мы — народъ, еще не прошедшій всего историческаго цикла науки о великодержавномъ и стойкомъ бытіи. Быть можетъ, для насъ Россія — это алгебра, нѣкоторый отвлеченный многочленъ, биномъ Ньютона, который «надо доказать». Арифметику, т. е. отдѣльныя, конкретныя величины мы прошли: Пермь знаемъ, Тулу знаемъ, село Раздоры знаемъ, деревню Неуважай-Корыто — тоже. А Россія?

Въ деревнѣ хоть есть еще какой-то ароматъ этой земной тяги, мысль о томъ, что кромѣ «нашей» задумчивой, рѣчки, «нашего», одѣтаго въ фату, въ утренній дымокъ, лѣса — есть еще другія русскія поля, лѣса и далекая чешуя серебристыхъ рѣкъ. Въ городѣ этой мысли нѣтъ.

Заводская печь обдаетъ гарью и дымомъ — тонкое кружево воспоминаній. Оно сгораетъ. Городъ — это хорошій нивелировщикъ для интернаціонала. Въ фабричныхъ трубахъ Луганска, Мангейма, Манчестера и Льежа — есть — неправда-ли? — какое-то «фамильное сходство».

...«У насъ, въ Бернѣ» спокойно и, какъ-бы задумавшись, словно прислушиваясь къ тихимъ и постоянно въ немъ звучащимъ струнамъ, сказалъ швейцарецъ. А мы?

Касаясь Герцена, этого типичнѣйшаго русскаго интеллигента, Достоевскій въ статьѣ «Старые люди» говоритъ: «Герценъ не эмигрировалъ, нѣтъ, онъ такъ ужъ и родился эмигрантомъ».

Это мѣткія, ударныя, обрекающія слова.

Дѣйствительно, развѣ это не эмигранство? Максимумъ народности въ дѣтской — это двѣ-три лживыхъ, слащавыхъ сказочки старой няни. Затѣмъ „O Weihnachtsbaum!“ безчисленныхъ нѣмокъ, окружающихъ дѣтство у иныхъ или „nous ne saipons pas, vous ne saipez pas“, какъ у «Иванова Павла» — у другихъ. Уже въ «буржуазной» дѣтской — все чужое. А потомъ, на жизненной стезѣ . . . чужое, чужое. Въ гимназіи кружки для изученія Смайльса и Спенсера, а затѣмъ и Маркса. А послѣ?

Борьба ортодоксальнаго марксизма съ «соглашательствомъ» бернштейніанствомъ; «штирнеріанство»— у болѣе яркихъ натуръ; «ницшеанство»; послѣ этого «мистическій анархизмъ», философія Авенаріуса—Маха и, наконецъ, позднѣйшій «бергсонизмъ» . . .

Все наиновѣйшее, чужое, все взятое съ заграничнаго прилавка съ восторгомъ приказчика изъ Чухломы, разворачивающаго лайковыя перчатки изъ Парижа, духи отъ «Убигана». Неужели въ этомъ есть что-то родственное съ туарегами, которымъ надо показывать блестящіе бусы для обмѣна на слоновые клыки? Эти бусы, этотъ сверкающій перебѣгающій блескъ позолоты, зелени, сини, пестрыхъ обложекъ, модныхъ школъ — характерны для «покупателей» колоніальныхъ странъ . . . Тамъ хорошо идутъ бусы и игрушки „Made in Ger-

many", школы и направленія „Made in Europe"... Вѣдь у насъ не было «школы» Достоевскаго, не было его трепетнаго, внимательнаго, благоговѣйнаго изученія. Мизерныя непротивленскія колоніи съ рубкой дровъ и опрощеніемъ — развѣ это «толстовство?» Не было полосы, не было «эпохи» н а ш и х ъ — мыслителей. Достоевскаго сдали въ «реакціонеры», Толстого — на потребу опрощавшихся одиночекъ.

И все.

Чтобы быть сильнымъ, чтобы напитать собою всѣ поры души, — каждое чувство должно въ нее просачиваться медленно и незамѣтно. Оно, это чувство, должно дѣйствовать, какъ эманація радія невидимыми лучами, проникая, пронизывая, заполняя, расщепляя поры души. Нужна «повторяемость» обстановки, текучесть и длительность тѣхъ формъ, которыя окружаютъ душу съизмальства. Нуженъ «бытъ».

Н у ж е н ъ «б ы т ъ».

Бытъ — это р и т м ъ жизни. Созданная изъ повторяющихся, дѣйствующихъ какъ музыкальный аккордъ, какъ консонансъ, мелочей, обстановка. Гипнотизирующая нашу душу, создающая ей фонъ. Безъ этого экрана, безъ этой «задней декораціи» — нѣтъ выпуклой живости, нѣтъ и не можетъ быть яркой, сильной и упоенной бытіемъ жизни. А у насъ,—у интеллигенціи сугубо,—не было б ы т а. Сумбурная личная жизнь, жизнь какъ «перекати поле»; оторванность отъ всего, кромѣ доктрины и почти религіознаго маньячества: «общественнаго служенія»—интеллигенціи народу.

Вотъ онъ, этотъ «безбытный», аритмичный, какъ перебои темпъ нашей жизни.

Для укрѣпленія жизни, для ея цементованія — нуженъ б ы т ъ, нужна журчащая, текучая «обстановка» mise en scène бытія. И не буржуазный, мѣщанскій у ю т ъ — нѣтъ. Пусть убогій, пусть трудовой, пусть тяжкій, трудный — но пусть это будетъ б ы т ъ. Его полюбишь, имъ напитаешься, онъ заполнитъ всю душу крѣпкимъ, отстоеннымъ запахомъ, какъ внесенная въ горницу береза на Троицу.

А у Weltbürger'а не можетъ быть быта. Мы же, такъ и не познавшіе Россіи, воистину «вагабунды», citoyens du monde. Бытъ—это своего рода воспитаніе души. Потомъ пускай она будетъ, эта душа, какой хочетъ: и «ницшеанской», и буржуазной, и безразличной. Но основа, азбука, мускульная гимнастика души — должны быть продѣланы.

И это можетъ дать только бытъ. Ароматъ насъ окружающаго. Особенно въ дѣтствѣ и юности. И будь это у насъ, мы полюбили бы святой и д ѣ й с т в е н н о й любовью нынѣ насилуемую, гдѣ-то у забора, нашу же мать-родину. Мы бы вдругъ поняли, что, за эти монастыри, за облѣзлыя, потрескавшіяся стѣны, у обрывовъ краснаго суглинка, за печально застывшія зеркальными пятнами озера, у лѣсныхъ повитыхъ туманомъ опушекъ—мы должны бороться, должны умирать. Пойми мы это, почувствуй — и борьба была бы предрѣшена. Моментъ зачатія этой мысли въ себѣ — это былъ бы моментъ побѣды. Ибо получить — это значитъ смертельно и до конца захотѣть. Мы не захотѣли. Ибо,

видать, нечего намъ было хотѣть. Не любили, не знали, не любовались въ душѣ. Не могли сказать съ такой спокойной, непререкаемой и убѣжденной увѣренностью: «у насъ, въ Бернѣ» . . .

Разъ нѣтъ быта, нѣтъ этого жизненнаго фона, возможны самые несуразные, аритмичные, почти смертельные толчки, перебои національнаго сердца. Это хромота исторіи. Это — машина безъ регулятора. Это — лишившійся силы притяженія, аэролитъ среди семьи народовъ.

И надо глубоко заглянуть себѣ же въ душу. Есть ли боль? Есть ли скорбная мука? Есть ли тоска?

«На рѣкахъ Вавилонскихъ сѣдахомъ и плакахомъ» . . . . . или нѣтъ?

Налетъ злобы есть; боль безсилія и ожогъ стыда тоже. Но ужаса передъ дрогнувшей, свалившейся и изнасилованной уже матерью — нѣтъ. Катастрофа не отразилась въ народной душѣ. Падающая, какъ падаютъ въ картинѣ Брюллова, колонны Помпеи, падающая неумолимо и неотвратимо Россія, не разбиваетъ, видать, при своемъ паденіи народнаго сердца. А, стало быть, она въ немъ и не была. Вѣдь если умираетъ мать, то весь горизонтъ словно темнѣетъ въ тотъ мигъ. Склонишься передъ дорогимъ ложемъ «давшей жизнь». Склонишься, прижмешься лобзаніемъ. А мы?

Нѣтъ траура. Нѣтъ «разодранныхъ ризъ, посыпанной пепломъ главы».

Стало быть въ душѣ то у насъ Россіи и не

было. И не было ни великодержавія ея, ни силы, ни мощи. Ибо ихъ въ душѣ не было.

Россіи вовсе и не было. Ибо ея не было въ нашей душѣ.

А хитрый Лука въ «На днѣ» не даромъ все повторялъ:

«Во что вѣришь, то и есть. Такъ то, милая».

Нѣтъ ея. И не было. Не было этой страшной, большой страны отъ «финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды». Это былъ фантомъ, миражъ. Это былъ отсвѣтъ изъ окна въ Европу, нынѣ завалившагося. Двѣсти лѣтъ было, значитъ, оно, это географическое недоразумѣніе, а теперь нѣтъ его. Кончено.

Это была ошибка въ курсѣ географіи. Не было нашей родины, ни старыхъ, словно присѣвшихъ подъ бременемъ лѣтъ псковскихъ монастырей, ни выжженныхъ солнцемъ, сѣрыхъ, крытыхъ потемнѣвшей соломою избъ, ни величавой поступи деревенскихъ красавицъ, ни орловскаго говорка тургеневскихъ Хорей и Калинычей, ни черноземнаго Толстого, ни геніальнаго эпилептика-прозорливца Достоевскаго.

Родная мать опозоренная лежитъ тамъ, гдѣ то у забора. Народу некогда. Онъ втянутъ въ кровавый смерчъ психоза. Быть можетъ, именно онъ — то, народъ, и прольетъ потомъ о ней слезу и покается. Въ статьѣ «Власъ» Достоевскій роняетъ такія строки о народной душѣ: «Зато съ такой же силою, съ такой же стремительностью, съ такою же жаждой самосохраненія и покаянія русскій человѣкъ, равно какъ

и весь человѣкъ, равно какъ весь народъ, и спасаетъ себя самъ, и обыкновенно когда, дойдетъ до послѣдней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчекъ, толчекъ возстановленія и самоспасенія всегда бываетъ серьезнѣе прежняго порыва — порыва отрицанія и саморазрушенія».

Кто знаетъ, быть можетъ, этотъ покаянный мигъ и наступитъ. Народъ, заверченный сейчасъ въ водоворотѣ, еще «сомутится въ сердцѣ своемъ». Но Weltbürger, родившійся въ Россіи эмигрантомъ, интеллигентъ, уже не воспрянетъ. О, онъ уйдетъ въ мистику, въ разочарованіе, также поверхностно осудитъ народъ, какъ предъ нимъ, «богоносцемъ», ранѣе ползалъ. Быть можетъ, истерическій отливъ опять отхлынетъ къ мутнымъ днямъ мистическаго анархизма, санинства, огарчества... И любоваться своей тоскующей душой будетъ онъ. И плакать. И убиваться. И новый Ропшинъ «сликвидируетъ» движеніе во второмъ «Конѣ блѣдномъ». И новый Сологубъ напишетъ новыя «Навьи чары».

Но Россіи онъ не пожалѣетъ, не пойметъ и не оцѣнитъ.

Ибо истерики всегда слезливы и жалостливы. Они, жалѣютъ, понимаютъ и цѣнятъ только самихъ себя.

И никто изъ нихъ не пожалѣетъ Россіи. Ибо некому. Есть народъ, а людей нѣтъ. Никто не пожалѣетъ.

Была и нѣтъ.

———·———

Безмолвіе.

Пушкинскій «Борисъ Годуновъ» кончается короткою, многозначительною, полною жуткаго значенія — строчкой: «Народъ безмолвствуетъ».

Мосальскій выходитъ въ самомъ концѣ дѣйствія на крыльцо.

— «Народъ! Марія Годунова и сынъ ея... отравили себя ядомъ. Мы видѣли ихъ мертвые трупы. (Народъ въ ужасѣ молчитъ). Что-жъ вы молчите? Кричите».

«Народъ безмолвствуетъ».

Развѣ эта короткая строчка не повторяется съ жуткою, странною періодичностью, словно припѣвъ, въ разные періоды нашей исторіи. Когда мечтатели Волынскіе и Трубецкіе выводили гарнизонъ на площадь, часть солдатъ вмѣсто «конституціи» кричала «Да здравствуетъ Констанція»! А весь народъ?

Народъ безмолвствовалъ.

Какою тонкою пленкой являлся интеллигентскій слой надъ народной толщей въ народовольческія и «Кибальчичскія» эпохи шестидесятыхъ и восьмидеся-

тыхъ годовъ! «Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи, кипитъ словесная война, а тамъ, во глубинѣ Россіи» . . .

Народъ безмолвствовалъ.

Вскорѣ онъ заговорилъ, но когда въ 905-мъ сорвалась т. н. «третья» ноябрьская забастовка Хрусталева-Носаря, защелкали выстрѣлы Мина на Прѣснѣ и дробно, пачками отдались они разстрѣлами Римана на Люберцахъ, — Витте сразу взялъ вправо. Къ 905-му году, къ этому упорному, вихревому, точно языкъ пламени, провозвѣстнику 917-го — была поставлена точка. Петроградскій, тогдашній совѣтъ рабочихъ взывалъ къ новой забастовкѣ, но проснувшійся утромъ петербуржецъ все-же видѣлъ упрямо бѣжавшіе по рельсамъ трамваи, вѣера газетъ у продавцовъ на углахъ и сутулыхъ извозчиковъ, мокшихъ подъ унылой сѣткой петербургскаго дождя. Носаря не послушали. Вскорѣ за нимъ спокойно и грузно, какъ Судьба, закрылась дверь петропавловской камеры или Крестовъ. Началась реакція.

Народъ безмолвствовалъ.

Потомъ въ началѣ «большой» революціи, у широкихъ слоевъ демократіи небольшой ея группой болѣе дѣйственной, болѣе рѣшительной, болѣе дерзающей были отняты, отхвачены цѣлые куски изъ великой хартіи свободъ. Кучка властвовала. Группа распоряжалась. Единицы командовали.

Народъ безмолствовалъ.

А интеллигенція?

Увы! Мало кто возвысился до мужества признать, наконецъ, тягчайшія ошибки интеллигентскихъ вождей.

А, казалось бы, возвыситься можно-бы. Мы на такой Голгофѣ, что вокругъ ясно виденъ стелющійся горизонтъ позора и ужаса. Но какъ же можно признаться? Какъ можно на бѣлизнѣ партійной одежды, на чистотѣ ноги — оставить слѣдъ признанія? Бѣлизна догмы, непогрѣшимость доктрины, незапятнанность лозунговъ— должны сіять ореоломъ надъ батрацкими хатами «Разуева, Знобишина, Горѣлова, Неѣлова, Неурожайки — Рожъ». И это поразительнѣйшая черта той интеллигенціи, которая возглавляла собою «демократическія» крупныя и мелкія организаціи. «Ахъ, Боже мой, что станетъ говорить революціонная Марья Алексѣевна?!»

Только-бы не показаться отсталымъ. Только-бы не осудилъ сосѣдъ. Только-бы не пропустить послѣдняго пароля, лозунга, клички, ярлыка и плаката. Ничто не проходитъ черезъ душу насквозь, ничто не проростаетъ ее корнями, ничто не просачивается сквозь нее тяжелымъ давленіемъ изученія, мысли, напора, труда. Нѣтъ, все берется на вѣру, всѣ лоскутья, слова, мысли, брошюры и книги — какъ модный нарядъ. Интеллигентская масса эпохи «начала революціи» вся была въ гипнотизирующей власти пестрыхъ обложекъ, лозунговъ, яркихъ кличекъ и звонкихъ именъ.

Онъ, этотъ средній русскій интеллигентъ изъ числа «примкнувшихъ къ движенію» или даже имъ руководящихъ — былъ въ большей части пронизанъ дѣйствительной любовью къ народу, былъ напоенъ дѣйствительнымъ состраданіемъ къ нему, полонъ, порою, настоящаго самоотреченія. Но его любовь къ народу, его

напоръ къ работѣ «за народъ» — есть просто «пре-
зумпція», предикатъ, апріорное подразумѣваемое его ду-
ши. Онъ просто «за народъ»; это такое-же духовное
свойство его нутра, какъ физическое строеніе легкихъ
или составъ его кровяныхъ шариковъ. Это неотъемле-
мое свойство такого русскаго интеллигента, выросшаго
на нашей, сплошь народнической литературѣ; это про-
сто есть «данное» его души, какъ есть «данныя» въ
теоремахъ. Такой интеллигентъ всегда «за народъ»;
его намѣренія — честны; его планы чисты; его устрем-
леніе опредѣленно. Но эти намѣренія — бездѣйственны;
планы — воздушны и устремленіе — безмускульно. Онъ
«за народъ» — но не претворяетъ этотъ лозунгъ въ
строительство. Его воля дрябла, слаба, порывиста, по-
ловинчата, неврастенична . . . Вспомните первый пері-
одъ, самые давніе, ранніе мѣсяца большевистской вла-
сти.

. . . Возьмемъ большую электрическую станцію,
сплошь состоящую изъ аккумуляторовъ, т. е. изъ сгу-
щенныхъ пріемниковъ и хранителей накопленной и жду-
щей своего разряда энергіи. И возьмемъ рядомъ не-
большую, дрянную, трясучую, полусломанную, н о в с е
ж е р а б о т а ю щ у ю динамо-машину. Лишимъ эти
аккумуляторы обоихъ кабелей, по которымъ долженъ
былъ-бы побѣжать, какъ по гигантскимъ жиламъ, на-
копленный токъ и, наоборотъ, пустимъ въ ходъ эту
небольшую, на живую нитку свинченную, десятисиль-
ную динамо-машину. Рядомъ аккумуляторы въ ты-
сячу силъ, но они стоятъ. Тутъ же «самодѣльщина»
въ десять силъ, — но она работаетъ. И въ этомъ вели-

кое очарованіе всякой кинетической энергіи каждаго дѣла, — что оно побѣждаетъ любую потенцію, находящуюся въ бездѣйствіи. Живая протоплазма, мерцающая своими усиками и тихо дробящаяся на ядра — сильнѣе, осмысленнѣе и съ точки зрѣнія жизни болѣе оправдана, чѣмъ мертвый или парализованный левъ. Вся та Россія, что не приняла участія въ лихомъ набѣгѣ единицъ на власть — стояла въ сторонѣ. Много «аккумуляторной» сгущенной силы было у этихъ, стоявшихъ въ сторонѣ отъ захвата, партій. Много вольтажа на вдохновеніе. А тутъ рядомъ была наскоро свинченная «динамо». Она грохотала, дрожала, сыпала искры и еле давала «десять силъ». Но на фонѣ общаго молчанія, общаго бездѣйствія, однѣхъ только благихъ «потенцій» — она, эта машинка — стала адской машиной нашего бытія. Къ нашимъ тысячевольтнымъ возможностямъ не были канализированы кабели дѣла. Мы могли, но не дѣлали. Хотѣли-бы, но не смѣли. Знали, что нужно, но не дерзали. А они дѣлали. Они смѣли. Они дерзали. Мы «могли-бы», дать тысячу вольтъ и сидѣли. А они въ началѣ съ трудомъ могли дать десять, но давали.

Въ этомъ вся разница.

Ибо велика, огромна, невыразима та мистика, которою окутано всякое дѣйствіе. Дѣйствіе — это оплодотвореніе инертной массы бытіемъ. Дѣйствіе можетъ быть худымъ и хорошимъ, но оно всегда лучше всякаго бездѣйствія. Дѣйствіе — это подлинная мистика, подлинный секретъ, «живая вода» жизни вообще. Чтобы получить жизнь, матерія должна была прид-

ти въ движеніе, т. е. должно было явиться — дѣйствіе. Шопенгауэръ дѣлитъ все бытіе, весь міръ на волю и на представленіе. Странно, что «воля» въ революціи сосредоточилась въ одной небольшой группѣ, а «представленіе», т. е. созерцаніе сдѣлалось удѣломъ подавляющаго большинства. Какая странная декорація: на фонѣ этого созерцающаго, подавляющаго своей численностью большинства — небольшая группа, полная одной только волей, чистой волей, безъ капли предвидѣнія, безъ унція созерцанія. Въ своихъ афоризмахъ, являющихся порою какъ-бы комментаріями къ основному труду о «волѣ и представленіи», Шопенгауэръ говоритъ о трагическомъ удѣлѣ тѣхъ характеровъ, у коихъ «воля» и «созерцаніе» не находятся хотя-бы въ нѣкоторомъ уравновѣшивающемъ соотношеніи.

Если преобладаетъ воля, — налицо бурная, стремительная натура, не умѣющая предвидѣть, не умѣющая соразмѣрить и горько расплачивающаяся за перевѣсъ своей воли. Если преобладаетъ созерцаніе—предъ нами натура квіэтическая, вялая, пассивная, безъ искры дѣйствія, безъ позыва къ творческому проявленію во снѣ. Что справедливо по отношенію къ отдѣльнымъ видамъ, то правильно и для человѣческихъ коллективовъ. Группы, съ одной волей, безъ рефлекса и безъ предвидѣнія, —страдаютъ отъ избытка дѣйственности. Противоположныя — отъ ея недостатка. Какой однако, ужасъ если является такой lusus соціальной naturae когда въ группахъ нѣтъ «соотношенія», а одна группа, хотя бы и очень малочисленная, есть чистая воля, а другая, хотя бы и очень подавляющая, есть голое созерца-

нiе. И эту «игру природы» по трагическому року, выпавшему на долю Россіи, сейчасъ переживаемъ мы. Безумiе группы, стоящей у власти, въ томъ, что въ ней нѣтъ ни представленія, ни созерцанія, ни предвидѣнія. Безумiе и обреченность всей остальной Россіи въ томъ, что въ ней нѣтъ воли. «Воля и созерцаніе» сгустились, какъ квинтъ-эссенціи и скопились на двухъ противоположныхъ полюсахъ; на одномъ только воля; на другомъ только бездѣйствіе.

И уже много лѣтъ Мосальскіе изъ вчерашнихъ демократовъ, выбѣгаютъ на всероссійское крыльцо и кричатъ почти дословно изъ послѣдняго дѣйствія «Годунова»:

— «Народъ! Твои свободы отравлены страшнымъ ядомъ. Мы видѣли сейчасъ трупы (народъ въ ужасѣ молчитъ). Что-же вы молчите? Кричите-же»?

Народъ безмолвствуетъ.

———

„Сирано“.

Вы помните у Ростана?

Сирано-де-Бержеракъ, захлебываясь, весь кипя въ творческомъ горнилѣ, подсказывалъ странныя «поэзы» своей любви Кипріану... Тотъ ихъ усваивалъ, и подъ балкономъ прекраснѣйшей Роксаны лилась рѣчь изъ чужихъ устъ, но рожденная творческимъ экстазомъ самого Сирано. Онъ-же тоялъ въ сторонѣ, потупясь, незнаемый, невѣдомый, истинный авторъ вдохновенной «поэзы».

Эта странная судьба Сирано, мечтательнаго, вспыхивающаго, рыцарскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ, мягко уступчиваго Донъ-Кихота—выпала—какимъ то роковымъ броскомъ игры въ кости—на долю нашей интеллигенціи. Судьба бросила двѣ кости. Крутясь и подпрыгивая, онѣ полетѣли. На одинъ мигъ, на одинъ только мигъ—показалось, что для интеллигенціи выпалъ максимальный выиграшъ: двѣ шестерки. Но кости взвились дальше и сейчасъ, когда онѣ опять замерли—виденъ итогъ: двѣ пустышки.

Интеллигенція, — развѣ не она нашептывала народу всѣ тѣ грезы, которыя насильственно воплощаются

въ жизнь? Грезы, вѣдь, это — бутонъ. Онъ долженъ распуститься самъ, тихій и благословляющій, рожденный живымъ сокомъ земли, напряженный внутренними, переливающимися въ немъ силами. А у насъ хотятъ расковырять бутонъ пальцемъ... «чтобы цвѣтокъ скорѣе распустился»... чтобъ на землѣ сейчасъ-же, вотъ сію минуту, послѣзавтра, въ будущую среду — засіялобы царство добра и истины. Сразу, самой послѣдней, наисправедливѣйшей истины.

Вотъ этотъ максимализмъ, это сектантство—развѣ не сама интеллигенція, нашептала нынѣшнимъ творцамъ момента?

И она стоитъ, какъ на чужомъ пиру. Оттертая, оттиснутая, въ черной, траурной шали — она уже не участница, эта бѣдная родственница, иногда только, если она докажетъ, что отошла отъ мелкобуржуазности, скрѣпя сердце, подпускаемая къ общему столу.

Не хочется задавать вопросовъ, ставшихъ уже захватанными: а кто былъ въ Зерентуѣ, кто въ Акатуѣ? Кто вспоилъ, напиталъ своимъ сокомъ — эти самыя догмы, что были такой щедрой, чужой пригоршней брошены на политическій базаръ? Словно шинкованная капуста, для базара, наструганы изъ этихъ идей легковѣсныя брошюры. Но кто замыслилъ ихъ зерно, кто долгой шлифовкой, въ атмосферѣ-ли полу-легальной борьбы при самодержавіи или въ ссылкѣ, гранилъ и, какъ драгоцѣнность, отдѣлывалъ догму «служенія народу»?.. Вѣдь, это былъ лучшій и почти единственный брилліантъ въ коронѣ русской интеллигенціи. А она воистину могла бы быть коронована въ

началѣ революціи. Всѣ ея лучшія чаянія, упованія, весь медовый сокъ ея радостныхъ думъ, то робкихъ, то взрывныхъ дерзаній начиная отъ буржуазнаго адреса—тверскихъ земцевъ и кончая эсеровскимъ взрывомъ Каляева у Кремля — получили живое воплощеніе, получили узаконенное, радостное бытіе. Она, вѣдь, она, именно интеллигенція, выносила, выпѣстовала и мечту объ общинѣ и догму марксизма, держась то за Михайловскаго, то за Ленина, то за фабричную трубу, то за батрацкую хату. Вѣдь, догма служенія народу, безкорыстная, самодовлѣющая, ни въ какую марксистскую ячейку и графу не укладываемая — была какъ лампада у интеллигенціи. Это былъ брилліантъ души во много каратъ, такой тяжелый, какъ тяга Микулы Селяниновича.

И интеллигенція, этотъ Сирано, нашептывавшій другимъ свои же творенія и чуждо и одиноко стоящій нынѣ въ углу, сама, вѣдь, плакала надъ Рѣшетниковымъ, терзалась вмѣстѣ съ Добролюбовымъ и говорила: «Выростешь, Саша . . . узнаешь» . . . вмѣстѣ съ Некрасовымъ. «Темное царство» клеймилъ этотъ Сирано. И рыцарскій вѣнокъ сплеталъ онъ всѣмъ борцамъ за свободу, начиная съ декабристовъ.

Развѣ вы не знакомы съ Сирано-де-Бержеракомъ, создавшимъ и отдавшимъ другимъ лучшія мечты своего сердца, разсыпавшимъ алмазы своего творчества на длинномъ пути, начиная съ Радищева и кончая его выступленіями въ зиму 916-го года, незадолго до мартовскихъ «идъ»? Развѣ вы съ нимъ не знакомы?

А студентъ 905-го года, въ убогой конурѣ «печатавшій» гектографированныя прокламаціи, звавшій на милую, разсѣченную плетьми и нагайками Казанскую площадь, звавшій «впередъ, за волю и народъ»,—развѣ это не Сирано? Развѣ эти сотни и тысячи жизней, дѣвушекъ и юнцовъ буржуазнаго класса, побивавшихся камнями, не преслѣдовались съ тупой и злобной жестокостью? Или это уже забыто?

«Сирано подсказалъ другимъ, что говорить, и теперь можетъ идти» . . .

Развѣ наши университеты не были застрѣльщиками политической борьбы въ мрачнѣйшія эпохи реакціи? Вѣдь, тамъ, у этихъ сыновей, въ большинствѣ буржуазнѣйшихъ семей — развѣ не тлѣлъ самый святой огонь «аще за други своя»? . . Вы помните Вѣтровскую исторію, когда посаженная въ Петропавловку (1899) курсистка Вѣтрова сжигаетъ себя, облившись керосиномъ? И пароксизмъ, въ которомъ послѣ этого свыше пятнадцати лѣтъ жили наши буржуазные разсадники высшихъ знаній?

Вѣдь, идеологія соціализма тоже вынашивалась въ нѣдрахъ интеллигенціи. Это сектантство, это мечта о «святомъ градѣ Китежѣ», о Царствіи Божіемъ на землѣ — самая дорогая ладонка, самый зачарованный благословенный талисманъ рыцарскаго Сирано.

И какой они великолѣпный символъ, эти Сирано, повѣдавшіе все своимъ ученикамъ, все имъ подсказавшіе, какъ по шпаргалкѣ и нынѣ стоящіе гдѣ то внѣ, въ

тѣни, съ тоскливою мукой въ груди, какъ стоялъ безумецъ, поэтъ Бержеракъ . . .

Нынѣшніе дни для этихъ страдальцевъ за народъ едва ли не горшая Голгофа, чѣмъ та, на которую они влеклись раньше. Когда они видятъ, куда втянутъ народъ «богоносецъ», какъ, далекіе, казалось бы, заглохшіе инстинкты пляшутъ «краснаго пѣтуха» по городамъ и весямъ, что дѣлается въ душѣ у боровшейся годами, десятилѣтіями за народъ интеллигенціи? Что у нея въ душѣ? Не то же ли, что у Андреевскаго профессора Сторицына, когда онъ почти съ мистическимъ ужасомъ всматривается въ «низкій лобъ» своего сына? Вы помните это мѣсто? Это кошмарное, едва ли не сильнѣйшее по трагическому символу мѣсто драмы:

— «А! Профессоръ Сторицынъ! Красота и нетлѣнное! . . Мученикъ и страдалецъ! Чистота и незапятнанность, да? А низкій лобъ не хочешь? . . Къ дьяволу на рога меня . . . болтуна! На колѣни, Сторицынъ, передъ низкимъ лбомъ».

Дальше слѣдуетъ авторская ремарка: «вдругъ страшно блѣднѣетъ и хватается за грудь».

— Постой! . . Сердце!

Много сердецъ охвачено сейчасъ этимъ пароксизмомъ отчаянія. Много мечтаній сейчасъ втаптываются въ грязь. Какъ поется въ грустной и нѣжной англійской пѣснѣ:

— Many a hearts that are breaking...

— (Много сердецъ разрывается),

— Many a dreams that are over...

— (Много мечтаній кончается).

Сирано подсказалъ все, разсказалъ все, пережилъ все. Сейчасъ онъ какъ, буржуй, стоитъ въ сторонкѣ, прижавъ руку къ страдавшему за народъ сердцу.

— На колѣни Сторицынъ! На колѣни предъ низкимъ лбомъ . . .

———

Вѣра и будни.

Всю жизнь стремился герой Ростана увидѣть свою далекую владычицу, прекрасную мечту, принцессу Грезу. Какъ у мистическаго нѣжнаго поэта Блока, горѣла и у наго лампада передъ Прекрасной Дамой, таинственною Незнакомкой. Всѣ помыслы, всѣ упованія, все устремленіе духа были къ Ней . . . Уже больного, уже разслабленнаго рыцаря привезли на парусной галерѣ къ Принцессѣ Грезѣ. Передъ тѣмъ, какъ холодные пальцы великой избавительницы Смерти легли на его усталый лобъ, ему суждено было увидѣть свою Мечту . . .

Вы помните эту красивую поэму, разсказанную утонченнымъ, изысканнымъ, стоящимъ одною ногой на грани манерности—Ростаномъ? Въ пѣвучихъ строфахъ, слегка изломанныхъ, чуть-чуть самовлюбленныхъ—онъ коснулся величайшей способности человѣческаго духа: в ѣ р ы, маніакальной вѣры въ мечту, въ созданіе своей души. Вѣры, поглощающей всего человѣка безъ остатка. Великаго пламени, сжигающаго всю душу на кострѣ. Вѣры, подобно колесницѣ Джаггернаута, давящей, съ обрекающимъ хрустомъ восторженныхъ сыновъ Ганга. — Вѣры!

Развѣ и у насъ ея не было?

Вѣрилъ Радищевъ. Вѣрилъ Новиковъ. Вѣрили декабристы. Въ тундрахъ, прикованные къ тачкамъ, держась за ихъ скользкія обледенѣлыя ручки, толкая тяжелый грузъ замерзшей руды — вѣрили, вѣрили. Словно Русь толкали впередъ и вѣрили въ нее. Словно и Русь была обледенѣлой, замерзшей и должна была оттаять.

Оттаяла—ли?

«Увижу-ль я, друзья, народъ освобожденный?» — спрашивалъ вскорѣ послѣ нихъ другой великій «вѣрующій».

Вѣрили. Вѣрили въ одну мечту, въ одну свѣтлую точку, какъ маякъ, какъ далекій неугасимый огонекъ.

Вотъ эта вѣра въ Русь, въ народъ, въ его и нашу общую свободу не была-ли подлинно неугасимою лампадой предъ иконою нашей вѣры: «Всѣхъ Скорбящихъ Радости?»

Вѣрилъ «неистовый Виссаріонъ». Вѣрилъ блестящій Искандеръ, Аксаковъ, Хомяковъ, Чернышевскій. Не только вѣрили, но вслѣдъ за Пестелями, Волконскими и Трубецкими — многіе тоже держась за обледенѣлыя, скользкія ручки, двигали тачки акатуйской и нерчинской руды. Словно тяжелую, примерзшую къ мѣсту Русь съ точки сдвигали.

И вѣрили.

Славянофилы—въ самобытность и общину. Западники — въ сліяніе съ Европой. И въ народъ. «Такой великій языкъ», сказалъ то-же одинъ изъ «вѣрую-

щихъ», — «не можетъ не быть данъ великому народу».

Вѣрили въ народъ.

Вѣрилъ и, облыжно ославленный «реакціонеромъ» мятущійся авторъ «Записокъ изъ подполья», запрятанный туда за эту—же вѣру. Весь его дневникъ послѣднихъ годовъ жизни — есть одно упованіе, одно экстатическое, почти эпилептическое (онъ, вѣдь, этимъ и болѣлъ) проникновеніе въ народную душу. Одно колѣнопреклоненное моленіе предъ народомъ. И если клеймилъ, то любя. И если бичевалъ, то страдая. Если въ «Дневникѣ Писателя» обнажалъ язвы народа, то дѣлалъ это, мучаясь, любя и волнуясь, словно свои или матери своей язвы показывалъ, словно себя самого бичевалъ. И на всей душѣ Достоевскаго эти рубцы отъ собственныхъ плетей. Вѣря въ народъ, обнажая народъ, любилъ его. Клеймя его язвы, страдалъ за нихъ. Бичуя, полосовалъ самъ себя. А въ будущее вѣрилъ. Вѣрилъ вдохновенно, какъ только можетъ вѣрить великій прозорливецъ, одержимый таинственною падучей, которую Пифіи считали общеніемъ съ богами, средніе вѣка — договоромъ съ дьяволомъ и нашъ простой народъ — «святою болѣзнью». Вѣрилъ въ народъ, считая его Мессіей, которому, что-то новое дано открыть, что-то вдохновенное дано міру принесть. Какъ у Брюсова: «Не знаю самъ какая, но все-жъ я міру вѣсть».

Такъ и Достоевскій, вѣруя, считалъ народъ за сфинкса. И становясь предъ нимъ, какъ предъ загадкой, — вѣровалъ.

А народническая литература школы Успенскаго и Рѣшетникова, — развѣ не вѣрила въ своихъ «подлиповцевъ» или въ «Растеряеву улицу?» Любила, хотя и обличала.

Какъ маленькія часовенки, какъ кресты на придорожьяхъ у польскихъ деревень, повсюду разбросаны по пути литературы русской, эти скиты вѣры въ народъ и любви къ нему. Вѣрилъ и марксизмъ — въ его фабричную блузу, и Михайловскій — въ его крестьянскую свитку, и Булгаковъ съ Бердяевымъ, повернувшіе «отъ марксизма къ идеализму» — въ его душу. Вѣрилъ и яснополянскій отшельникъ, такъ вѣрилъ, что построеніе земной жизни перенесъ отъ «научнаго соціализма» просто въ душу живу каждаго отдѣльнаго человѣка, повторивъ: «Царствіе Божіе в н у т р и в а с ъ е с т ь». Такъ вѣрилъ...

И также пламенно и вдохновенно, какъ литература, вѣрила въ народъ и Революція. Такъ вѣрила, что, словно околдованная далекимъ, немеркнущимъ свѣтомъ, шла, не видя жизни подъ ногами, не видя рытвинъ и косогоровъ, не видя зазіявшей передъ нею пропасти... Вѣдь во всемъ «первомъ» періодѣ нашей революціи знаменательна именно эта упорнѣйшая, фанатическая, сектантская вѣра.

Въ революціи, въ ея вождяхъ, жрецахъ и апостолахъ была черта, роднившая ихъ съ простыми сектантами, съ самосожженцами петровской эпохи, съ недавними религіозными борцами за вѣру, тайно сходившимися на баптистскую вечерю для новаго Евангелія. Это огонь неугасимой, фанатической, упрямой

вѣры. Та-же слѣпота ко всему другому. Та-же напряженная, доведенная до экстаза, почти до хлыстовскаго радѣнія, ушедшая въ себя внутрь, сожигающая мысль: вѣра. Какъ нужно креститься: двуперстіемъ или трехперстіемъ? Этотъ вопросъ могъ вызвать пожаръ религіозной ненависти между православіемъ и расколомъ. Кто спасетъ Русь: фабричная труба или хуторъ общинника? Этотъ вопросъ могъ вызвать и вызывалъ величайшую вражду между сектантами марксистскаго и раскольниками эсеровскаго толка. И двигателемъ вражды могла быть, и была — именно эта вѣра, фанатичнѣйшая, сожигавшая интеллигентскую мысль до лихорадки, до внутренняго жара, почти до изувѣрства. Сектанты порой не столько ненавидятъ открытыхъ противниковъ, сколько своихъ-же отщепенцевъ, послѣдователей новой извилины мысли. Наиболѣе лихорадочная вражда заостряется не между классами, а внутри интеллигентской, партійно-сектантской мысли. И все это не со зла, а отъ фанатизма, идущаго до самопожертвованія и отъ вѣры, переходящей въ изувѣрство.

Развѣ, дѣйствительно, мы не европейскіе молельщики?

Европѣ, разочарованной, извѣрившейся, проѣденной скепсисомъ старухѣ, мы принесли юношескій жаръ вѣры: обнаженную мысль Толстого и дѣтски-мудрую, ясновидящую душу Достоевскаго. Европѣ съ ея успокоившимся уже укладомъ, чуть-чуть только кружившей ей голову философіей Заратустры, съ бюргерскими, филистерскими парадоксами Нордау, съ щекочущими,

словно тонкимъ перомъ, графическими завитками мысли Анатоля Франса и Бурже и съ вѣющимъ, только изъ Скандинавіи, вольнымъ вѣтромъ Ибсеновской и Гамсуновской мысли — этой Европѣ, уже усталой, уже чуть-чуть блазированной, привыкшей на кушеткѣ читать «миніатюрную» и портативную философію новеллъ Петера Альтенберга, какъ дессертъ мысли, какъ орѣхи и пастилу — этой Европѣ мы вынесли свѣчечки изъ часовни: — большую свѣчу изъ Ясной Поляны, и маленькую Алеши Карамазова или того мальчика, «который плакалъ въ темнотѣ дѣтскими слезинками и молилъ своего Боженьку».

Мы вынесли свою вѣру.

И если одни говорили: «вѣрую Господи, помоги моему невѣрію» (Марка, 9,24), то были другіе, вѣрившіе безраздѣльно, безраздумно, наитіемъ духа, естествомъ своимъ (Луки 7,9).

Подлинно, вѣра эта была, словно лампада передъ ликомъ «Всѣхъ скорбящихъ радости», ибо всю скорбь свою, всю тоску и муку сюда вкладывали и всю радость свою въ этомъ полагали.

. . . . . .

Герой Ростана всю жизнь свою влекся къ недосягаемой Грезѣ. Принцессѣ Грезѣ. Уже больной, уже умирающій, на парусной галерѣ пріѣхалъ онъ въ желанную землю, — и восторженные глаза, прежде чѣмъ закрыться навѣки, увидѣли воплощенную Мечту.

А что, если-бы Греза оказалась Майей, обманомъ, миражемъ, фантомомъ? Если-бы вмѣсто красивой мечты, прекрасной принцессы на него глянула-бы,

хитро сощурившись и скаля беззубый, смѣющійся ротъ, неприкрытая правда? Не лучше-ли умереть съ мечтой о прекрасномъ, чѣмъ увидѣть грезу жизни втоптанной въ грязь? Увидѣть, что поклонялся не принцессѣ Грезѣ, а смрадной старухѣ или какъ говоритъ въ одной изъ сказочекъ Федоръ Сологубъ, «бабищѣ дебелой и пошлой, имя которой Жизнь»?

А мы это пережили.

Тѣ, умиравшіе въ началѣ войны, въ окопахъ, подъ разрывами шрапнелей, отъ впивавшихся въ нихъ лобзающимъ жаломъ пуль — тѣ, умирая, вѣрили.

Вѣрили въ Русь. Вѣрили въ насъ, остающихся. Вѣрили въ прекрасное будущее. Умирая, падая, уходя въ небытіе — въ послѣдніе миги, быть можетъ, думали: «а всетаки побѣдимъ». Въ затуманенномъ сознаніи не пробѣгало кошмарныхъ, приниженныхъ мыслей безсилія. Холодѣя, умирая — во что-то вѣрили. Въ Принцессу Грезу.

И потомъ пришла она, воплощенная.

Не Принцесса, а «жирная, дебелая бабища, имя которой Жизнь». Вмѣсто улыбки Грезы — кривая гримаса Исторіи, растянувшійся ротъ до ушей, Квазимодо нашей судьбы.

А Революція? А въ началѣ ея? Развѣ тѣ, умиравшіе, не вѣрили воистину, что наступаютъ новые, яркіе, ясные, благословенные дни? Первыя жертвы, развѣ не падали, вѣруя, чуя, привѣтствуя раскрывшейся весенней душой прилетъ новыхъ дней? Развѣ не весну они чуяли? И умирая, въ холодѣющемъ, тускнѣвшемъ сознаніи развѣ не близкое, теплое дуновеніе

этой весны они ощущали? Весны, Принцессы Грезы.. И вотъ она теперь воплощенная. Принцесса-ли Революціи? Греза-ли нашей Свободы? Или можетъ быть, «бабища дебелая и пошлая, имя которой — Жизнь». Не улыбка благословенія, а злая насмѣшка макбетовскихъ вѣдьмъ.

И, быть можетъ, по своему счастливы тѣ ушедшіе въ небытіе въ началѣ войны и въ началѣ Революціи.

Они такъ со своей мечтой и остались. Для нихъ— Греза о Россіи — есть прекрасная и ласкающая мечта, весенняя, залитая мартовскимъ солнцемъ греза о счастьи. Принцесса въ пурпурномъ одѣяніи знаменъ. А не башкирскій эшелонъ, посланный сюда «бабищей, дебелой и пошлой, имя которой есть Жизнь».

И поэтому по своему счастливы эти ушедшіе. Какъ вѣровали, такъ и унесли свою вѣру.

А мы?

А оставшіеся?

* * *

Когда галера, привезшая рыцаря, бросила якорь въ водахъ Принцессы Грезы — было условлено съ нею, что пока онъ не умретъ, на кораблѣ будетъ виться бѣлый парусъ, а если рыцаря не станетъ и онъ не успѣетъ увидѣть своей Грезы, — на мачтѣ повиснетъ черный символъ тоски и унынія: — траурный парусъ.

Минувшіе года нашей жизни — это паруса, взвившіеся на мачтѣ прошлаго. Какимъ долженъ былъ быть стягъ Революціи? Понятно ликующимъ, бѣлымъ, свѣтлымъ, какъ крыло херувима. Это были года, исполне-

нія упованій, величайшей бури, весенняго ликующаго шторма.

И теперь, когда мы уже перешли какой-то рубежъ, оборачиваясь, назадъ видимъ: на мачтѣ галеры прибывшей въ воды прекрасной Грезы, не видно бѣлаго флага чистоты, краснаго паруса яркихъ воплощенныхъ надеждъ. Не видно.

На оставленномъ прошломъ грузно и горестно виситъ черный парусъ.

Оскорбленныхъ надеждъ, осмѣянной вѣры, растоптанныхъ грезъ.

Растоптанныхъ — кѣмъ?

«Бабищей дебелой и пошлой, имя которой: есть—Жизнь».

Ею растоптанныхъ.

* * *

Чего-же намъ не хватаетъ, чтобы воплощать грезы въ жизнь? Что нужно, чтобы наступающія новыя вѣхи нашей судьбы означили-бы поворотъ страны? Что нужно?

Меньше сектантства, фанатическаго изувѣрства, партійной, раскольничьей вѣры. Меньше самовлюбленной замкнутости. Больше будней. Простыхъ рабочихъ будней труда, строительства.

Ибо у насъ тяга къ вѣрѣ, къ самообману, къ самоупоенію. Острый поэтъ современности Саша Черный, говоря о смѣнахъ календарныхъ рубежей, вскрываетъ апатію интеллигентской мысли, отравленной гашишемъ грезы:

Ахъ, милый, хилый Новый Годъ,
Горбатый сморщенный уродъ.
Зажги среди тумана
Цвѣтной фонарь обмана.
Зажги! Мы ждали много лѣтъ —
Быть можетъ, солнца вовсе нѣтъ?
Дай чуда! Вѣдь бывало
Чудесъ въ вѣкахъ не мало.

Вотъ именно: намъ не надо больше жить въ иллюминаціи «цвѣтными фонарями обмана». Нужна проза. Нужна правда. Нуженъ дневной свѣтъ. Пускай онъ будетъ сѣръ и предразсвѣтенъ, пускай онъ будетъ тусклъ, какъ брезжущій полусвѣтъ. Ничего. Надо работать. Пусть зябко и неуютно въ предразсвѣтномъ холодкѣ: надо работать...

Когда-же придутъ въ нашу жизнь простые плотники нашего быта? Строители, работники, каменщики.

Не разслабленные фантасты, не грезеры, не провидцы.

Намъ недостаетъ основныхъ линій нашего быта, простѣйшихъ линій нашего чертежа. Орнаментъ у насъ уже есть и такой еще изощренный: пышное барокко соціалистической и сектантской мысли. А основныхъ линій нѣтъ.

Разумѣется, вѣра нужна. Но вѣра здоровая, упрямая, мудрая и стойкая. Не вѣра, переходящая въ изувѣрство, не вѣра, возжигающая, подобно кострамъ Торквемады, пламень вражды. Нужна вѣра въ свои силы, въ свою будничную работу строительства. Интеллигентская мысль, чтобы не сгнить въ

схоластикѣ партій, сектъ и группировокъ — должна уйти въ будни. И тогда трансцендентный взглядъ на «богоносца-народушко» умретъ. Что-же останется? Останется сила русской души. Ее-то и должно будетъ вывести отъ «цвѣтныхъ фонарей обмана» близкое будущее.

А отъ прошлаго надо уйти.

Пусть слышатся въ немъ, какъ далекіе раскаты, звуки первой марсельезы. Эти звуки заглушены звономъ позднѣйшихъ погромовъ. Языки пламени лижутъ Россію. Гдѣ-то щелкаетъ пулеметъ. И гудятъ глухо, кошмарно и зловѣще, гудятъ что-то «прямые провода» съ Кремля на югъ, и съ сѣвера въ Кремль и обратно. Гудятъ о чемъ-то зловѣще и глухо. Такъ гудятъ телеграфные столбы въ непогоду. Въ осеннюю мокропогодицу. Жутко, зябко, холодно.

И вѣтеръ свиститъ, запутавшись въ «прямыхъ проводахъ».

А на шестѣ у проѣзжей дороги никнетъ черный парусъ съ вышитыми на немъ буквами: Р. С. Ф. С. Р.

Кто вышивалъ?

Вышивала: «бабища дебелая и пошлая, имя которой — Жизнь».

„Русь“.

Посв. Зинаидѣ Ивановнѣ Бухаловой.

Это было такъ странно похоже на коверъ старой, блеклой парчи — эти мѣдные, красные, гобеленовые листья ранней прозрачной осени. Вся верховая дорожка Тюльери такъ густо была осыпана этой покорной, прощальной листвою.

И сразу въ видѣніяхъ встали наши парки, сады и лѣса. Наша дальняя, русская осень. Вѣдь, тамъ у насъ сейчасъ та же блеклая пора, печальное убранство, прозрачная лиственная бронза, густые потоки кармина, и тотъ-же коверъ покорной осени, стелющійся по землѣ. Сухой дернъ съ сѣрыми, пожелтѣвшими остріями умершихъ травъ. Вздымаемые лѣнивою лапой стылаго, еще не злого вѣтра, вороха листьевъ на песчаной дорожкѣ: точно въ медлительномъ танцѣ взметенные вихри. И, кажется, тамъ, за еще необлетѣвшимъ кустарникомъ чья-то свирѣль выводитъ несложное колѣно, немудреную пѣсенку грусти, прозрачнаго утра и близкаго увяданія.

Осень.

* * *

Понятно, жизнь насъ зоветъ къ себѣ: ея бытъ, ея «техника», рамки требуютъ планировки дѣловыхъ повседневныхъ тропинокъ, какого-то хоть маленькаго строительства, обростанія буднями. Иначе нельзя жить. И мы живемъ, ибо есть простой и ясный, — быть можетъ, даже неосознаваемый нами, — законъ соціальнаго выживанія, простой физики. Простой, немудреный законъ:

— Надо жить.

Вы знаете это подсознательное ощущеніе, когда внѣшне, — словно автоматъ, — двигаешься, говоришь, отвѣчаешь, заполняешь видимымъ дѣйствіемъ весь короткій жизненный день отъ зари и до сумерекъ, а внутри слышна — неумолчно и тревожно — какая-то одна густая и протяжная струна. Достаточно остановиться, передохнуть, сдѣлать паузу — и сразу изъ глубины доносится это тревожное, ни на секунду не умолкающее гудѣніе. Словно свистъ вѣтра въ телеграфныхъ проводахъ.

Это мы думаемъ о Россіи.

Живемъ словно какой-то временной, эскизною жизнью. Все у насъ «пока», на время, «на тычкѣ», присѣвши на краешекъ. Тамъ, въ Россіи, когда-то, — жизнь слагалась густая и «всамдѣлишная»,—и радости и горести были выпуклыя и ощутимыя — лѣпили мы и мяли жизнь, какъ глину. И борозды горя и лепестки улыбокъ — все осязалось реально и четко.

Сейчасъ мы живемъ, точно рисуемъ жизнь сквозь «кальку» для копіи, чтобы похоже было на жизнь. Контуры жизни — эскизны и органически съ нами не связаны. Радости наши блѣдны и въ нихъ есть горесть и тщета. Точно улыбка чахоточнаго, глядящаго на возню дѣтей. Горести наши привычны, какъ тупая, протяжная боль.

Ибо внутри насъ одна большая, все покрывающая, непреходящая боль.

Мы — обреченные: на что бы ни смотрѣли, чѣмъ бы ни жили — всегда въ душѣ встаетъ, словно въ «камеръ-обскурѣ», ясная пластинка прежняго:

— Вотъ такъ у насъ было, въ Россіи.

Это не подсахаренная и не подслащенная боль, не слезливая сентиментальность. Это органическое сродство души, проросшей корнями землю и живущей только ея соками, ея густою и вязкою влагой. Сейчасъ мы внѣ своей почвы, ссыхаемся, никнемъ.

Осень.

* * *

Тамъ у насъ къ этимъ пригожимъ, холодѣющимъ днямъ кустарники дѣлались чернѣе, вѣтки акацій съ шипами острѣе. Стылое, отступившее, похолоднѣвшее небо — виднѣе; пышное, лиственное убранство лѣта падало внизъ и лежало тамъ блеклыми, хрупкими тканями. Это былъ коверъ осени.

Березки стояли стыдливыя, холодѣющія, обнаженныя. Еще остался кой-гдѣ на нихъ желтый, прозрач-

ный, дѣвическій уборъ. Но это были уже лоскутья и пятна. Кольцами, пышными складками лежали внизу упавшія ткани и стыдливо жались березки на холоду нагія, дрожащія.

Не охотно сдавались клены. Боролись, густѣли, наливались осеннимъ румянцемъ, рдѣли. Пробовалъ ихъ сдувать и расшвыривать вѣтеръ, но не могъ. Тогда онъ крѣпчалъ, налеталъ, стиснувъ стылые зубы, хваталъ ихъ лохматыми руками, похожими на волнистые, воздушные упругіе вѣера съ невидимой, кружевною каймой и гудѣлъ, кувыркался, сходилъ съ ума. И клены осыпались съ глухимъ, дружнымъ шуршаніемъ. Ихъ листья уже были облиты густою, мѣдною киноварью, бурыми, темными потоками. Внизу на сухихъ, пожелтѣвшихъ травахъ лежалъ осенній лиственный коверъ блеклаго гобелена.

Невдалекѣ, — стылый и недвижный, — холодною, чуть тусклою зеркальностью — обозначился прудъ.

Наша русская осень — щедрый декораторъ. Она разбросала по пруду пятна опавшихъ листьевъ, словно нарочно обронивъ желтые меленькіе кусочки тканей. Застудила воду, и прудъ сжался, холодный, стальной, — словно мертвый. Вороха листьевъ намела вдоль дорожекъ, рытвинъ и канавъ. Прорисовала небо черными силуэтами безлиственныхъ, обнажившихся кленовъ на сквозной, — ставшей вдругъ просторной, — опушкѣ.

Это все наше.

Какъ въ левитановскомъ «Вѣчномъ покоѣ» смотритъ сверху просторное, грустное, раздумчивое небо.

Познавшее нашу боль и тоску, нашъ стыдъ и паденіе — и все же прощающее насъ небо.

* * *

Проходятъ, — отстучавъ маленькимъ пружиннымъ маятникомъ «тикъ-такъ», мелкіе часы нашей жизни здѣсь, на чужбинѣ. Отстучали, оттикали мелкій, ненужный день, полный суетни, повседневныхъ тревогъ, цѣпкаго, внѣшняго быта. Наступаетъ вечеръ.

И душу осѣняетъ покой и пѣвучія, сладкія и невыносимо-скорбныя думы объ Оставленной. Можетъ быть, душа поетъ или плачетъ, — но уже не мелкіе мы, не повседневные, не будничные. Встаютъ въ душѣ просторы и дали. Свѣтлые, залитые щедрымъ, смѣющимся солнцемъ.

Быть можетъ, все, что есть еще въ душѣ схороненнаго, какъ ладанка, какъ приворотный корешокъ — только оттуда, отъ дней нашей юности, отъ солнечнаго, пѣвучаго дѣтства. Жизнь стучала молоткомъ, и била, — но, словно кувалда по чеканной, красной мѣди — уплотняла, сжимала мелкою дробной чеканкой. Душа крѣпла. И прирастала тысячью корней и чувствилищъ къ родному чернозему, къ землѣ, то рыхлой, весенней, то стылой осенней, въ гобеленовыхъ, пышныхъ, шуршащихъ коврахъ.

Лишь теперь, здѣсь, на чужбинѣ, понимаемъ, оторванные, что мало любили, не цѣнили своего. Жили придуманной жизнью въ грезахъ, среди фантомовъ и видѣній. Жили книгой и призраками. Тамъ, гдѣ-то внизу,

цвѣла и проростала безъ насъ жизнь, а мы, роднясь съ ней всѣми корнями и истоками въ подсознаніи, разумомъ жили гдѣ то внѣ, отступя отъ земли. Достоевскій писалъ про Герцена: «Онъ не сдѣлался эмигрантомъ. Онъ имъ сразу родился». Мы уже давно эмигрировали тоже въ какой-то свой особенный, интеллигентскій міръ — фантастическій и надуманный. Онъ былъ весь въ магіи словъ, фразъ, партійныхъ заклинаній, книжныхъ формулъ. Жизнь, похожая на городъ ученыхъ геометровъ, попавшихся на пути Гулливера. Гдѣ суетились, озабоченно и хлопотливо средь «синусовъ», «косинусовъ» и астролябій—въ колпакахъ и халатахъ—странные, поглощенные мечтой маніаки.

А мы?

Развѣ не то-же самое? Маленькій слой надъ огромною, народною толщей, — мы жили цѣликомъ въ мірѣ абстрактныхъ, геометрическихъ линій, невидимыхъ и прочерченныхъ нами-же. Споры общинниковъ съ марксистами, — ярые сектантскіе. Распри партій, ячеекъ и закутъ — упорныя, порой изувѣрныя. Дробныя дѣленія на секціи, фракціи, толпы и группы.

Словно раскольники о двуперстномъ сложеніи спорили о догмахъ, буквахъ, доктринахъ. Измышленными, книжными «косинусами» исчертили вокругъ себя всю жизнь. Все гуще и плотнѣе закрывала насъ эта сѣтка отъ правды, отъ солнца, отъ воздуха — пока не закрыла совсѣмъ плотной, исчерченной тканью. Уже не видѣли жизни, хоть въ подсознаніи и питались отъ ея чревныхъ, густыхъ, подземныхъ источниковъ. Корнями

въ Руси, подымались надъ нею красивымъ и красочнымъ интеллигентскимъ пустоцвѣтомъ.

Потому Рудинъ и былъ гдѣ-то на чужихъ баррикадахъ. Потому и шла наша мысль отъ «фабричной трубы» марксизма къ общинному черноземy Михайловскаго, къ бунтарству Бакунина, къ обгрызкамъ наспѣхъ закроенной для насъ философіи Авенаріуса-Маха, фалды которой вышли изъ моды черезъ полъ года послѣ закройки и висѣли на нашихъ широкихъ плечахъ такъ кургузо и чуждо. Потомъ завернулись не надолго въ тогу Чулковскаго мистическаго анархизма, скользнули въ полосу разочарованія, огарчества и «эго-самости».

На минуту сталъ жгучимъ и манящимъ альковъ «сексуальной проблемы» и о вопросахъ пола прочелъ не одну сотню лекцій самъ Санинъ. Не одна тысяча юныхъ дѣвичьихъ и довѣрчивыхъ рукъ перелистали „De profundis“ Пшибышевскаго и прочихъ Тетмайеровъ. И весь этотъ ворохъ покрыли высокой бумажной горою брошюры, листовки, «Эрфуртскія программы» и Каутскіе, интеллигентская мудрость, нашинкованная легковѣсными стружками «Молота» и «Буревѣстника», Жюль Гэдами и Поль Лафаргами, — высились вокругъ томы кирпичныхъ, неразрѣзанныхъ журналовъ со статьями «О голосованіи подростковъ въ западной Каледоніи» и «Аграрныхъ проблемахъ въ Боливіи». И жилъ интеллигентскій муравейникъ подъ этой бумажной горой, отъединенный и отравленный чадомъ и гарью, ядовитыми испареніями кружковщины и догматизма. На одну минуту въ 914-мъ, когда казалось — словно панцырь — спаялась земля во-едино, шевельнулось что-то

подъ муравейникомъ. Кто-то пытался даже воткнуть въ него трехцвѣтный, радостный флагъ — родное полотнище, натянувшееся на упругомъ, смѣломъ вѣтру. Лишь на секунду. А потомъ кто-то заковырялся, закопошился и засуетилась обычной суетой муравьиная куча: отъ Циммервальда къ Кіенталю, отъ оборонцевъ къ «эн-есамъ», къ житейски-мудрой золотой срединѣ кадетъ, къ словамъ, лозунгамъ, ярлыкамъ и кличкамъ. Снова быстрые, словесные искусники, какъ мураши источили, изрѣзали, покрыли все ходами и выходами. А потомъ пришелъ памятный мартъ; тоже на-секунду, казалось, пахнуло чѣмъ-то привольнымъ и радостнымъ. Но сейчасъ-же буйнымъ крапивнымъ цвѣтеніемъ раскинулся, разметался интеллигентскій чертополохъ. Пришли книжники и фарисеи, грезеры и фантасты. Уже не въ подпольѣ, а по всей землѣ — задвигались, заговорили. И всѣ тѣ догмы, заклятія, и формулы, что слагались въ подпочвѣ — были разбросаны ядовитыми сѣменами.

И поднялся урожай.

Обильный и страшный, весь въ красныхъ макахъ,

Народной крови.

Теперь то мы видимъ эту Голгофу. Теперь то уже всѣ поняли. И бездну прегрѣшеній своихъ, и гордыню, и суесловіе, и тщету себялюбій.

Мы любили себя, свои уголки, закуты — интеллигентское цвѣтеніе мыслей, ритмику усталой души. Любили только себя.

И упустили, утеряли — простую, немудрую и глубинную, безконечно родную и святую для насъ землю.

Русь.

Лишь, здѣсь на студеномъ, зломъ и яростномъ сквознякѣ, поняли, что живемъ только тамъ, что всѣ истоки и корни наши «тамъ». Что не умѣли, не цѣнили, не любили своего. Чурались, не изучали, не проникали сыновнею грудью къ землѣ, къ ея тайникамъ, къ ея чарамъ и волхвованіямъ. И она зоветъ насъ сейчасъ къ себѣ обратно всей мистикой крови уже пролитой и близъ «стѣнокъ», и на Дону, и въ Сибири, и на Уралѣ, и подъ Гатчиной и въ «Ледяномъ» безсмертномъ Корниловскомъ походѣ. Ошибались-ли мы и они, не то, можетъ, дѣлали, что надо — но кровь сыновняя была пролита и льется теперь. И нѣтъ для насъ, уже наказанныхъ, уже изстеганныхъ болью разлуки — муки горшей, чѣмъ жизнь вдали, безъ Нея. И мы наказаны этой мукой, злою и сладкой: качается въ дремахъ и грезахъ душа наша и всѣ, всѣ думы о Ней, и всѣ слезы о Ней, и вся тоска и жаръ безсонныхъ ночей о Ней, сквозь Нее, для Нея.

Для Руси.

И мы еще вернемся туда, когда-либо. Не можемъ не вернуться.

Придемъ умудренные, не съ местью, а съ любовью, придемъ смирившіеся, безъ прежней гордыни. У нея будемъ учиться. Заново строить. Не въ закутахъ, у книжныхъ полокъ среди заклятій и буквъ — а тутъ-же на привольѣ, надъ черноземомъ, подъ смѣлымъ, студенымъ немолкнущимъ вѣтромъ.

* * *

Сейчасъ тамъ осень. Золотая листва. Багрянецъ. Карминъ и охра, лихорадочный румянецъ и блеклая парча. И гобеленъ ковровъ, пышный и царственный, упадшій на землю.

И кто-то шуршитъ прощальной листвой. Кто-то шуршитъ по лѣснымъ, по осеннимъ коврамъ.

Это — мы. Это — наша душа. Она ходитъ и бродитъ, не видитъ покоя. Вотъ осенній шорохъ въ этихъ лѣсахъ, и вздохи и шопотъ вѣтра въ блеклой, багряной листвѣ — это мы. Мы тамъ ходимъ. Все время, неотступно.

Ибо жизнь наша здѣсь — это маленькіе, цѣпкіе, вынужденные будни. А истинная жизнь наша, Осанна наша, весь смыслъ души нашей и вся вѣра наша — только Она.

Только — Русь.

Парижъ.

DUKE UNIVERSITY LIBRARIES
Pugachev ili Petr? : dusha naro
891.734 088P
D90356483